

Страх настоящего



Яценко Ирина

Ирина Яценко

Страх настоящего

«Автор»

2026

Яценко И. Д.

Страх настоящего / И. Д. Яценко — «Автор», 2026

Шестой курс медицинского. Ночные смены, чужие дипломы, бетонная квартира. Эмилия Ягиш построила жизнь как безупречную систему — расписание, латынь, контроль. Но система даёт сбой: научный руководитель присваивает её работу, староста скрывает дедлайн, а тело отказывает — панические атаки, бессонница, пустота вместо чувств. Книга о том, как человек, привыкший анализировать всё, кроме себя, учится замечать — собственный страх, чужую боль, тишину рядом с теми, кто не хочет говорить. И о том, что жить невозможно безопасно — можно только честно. Холодная, точная, без анестезии.

© Яценко И. Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Бетонная коробка	5
Глава 2. Латынь как броня	12
Глава 3. Что было до	21
Глава 4. Научный руководитель	31
Глава 5. Алина и список	38
Глава 6. Конференция	46
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Ирина Яценко

Страх настоящего

Глава 1. Бетонная коробка

Ключ поворачивается с сопротивлением — замок не то что заел, но чужой, не привыкший к её руке. Потом щёлкает.

Эмилия переступает порог и останавливается посреди прихожей, вернее — посреди того, что здесь называется прихожей: узкий пятачок линолеума, на котором двоим не разминутся. Одна сумка. Она ставит её у ноги и слушает тишину.

Своя тишина. Не та, в которой за стеной кто-то двигает стулья, кашляет в родительской спальне или бормочет телевизор, — а настоящая, принадлежащая только ей. Эмилия выдыхает медленно, почти методично, и решает, что это правильно.

Замечает: дверь закрывается без скрипа. Хорошо.

Квартира невелика и откровенна в своей невеликости. Комната — метров пятнадцать, если с натяжкой. Потолок в пятнах от прежних жильцов, краска на подоконнике облупилась и свернулась мелкими лепестками, как кора старой берёзы. Окно выходит во двор-колодец, в котором сейчас темно, хотя ещё только сумерки, — стены соседних домов почти смыкаются, и небо над ними — узкая серая полоса, похожая на шрам. Эмилия смотрит на этот вид несколько секунд и отмечает: хорошо, что не на дороге. Меньше шума. Нейтральное пространство.

Она проходит в комнату и обходит её по периметру. Стены когда-то были белыми, теперь — неопределённого цвета усталости, не жёлтого, не серого, ничего. У батареи — засохшее пятно от чего-то пролитого, вьёвшееся намертво. Она не думает, от чего именно. Это было до неё и не имеет значения.

Запах — вот чего не было в объявлении. Квартира пахнет чужим бытом: чьим-то стиральным порошком, осевшим в стенах, чем-то затхлым у плинтусов, и поверх всего — резкая химическая нота с улицы, из аптеки на первом этаже. Хлоргексидин и какой-то пластик. Привычный запах, если вдуматься. Рабочий.

Нейтральное, — повторяет она себе, уже про запах.

Сумку Эмилия разбирает с методичностью, которую ценит в себе и которую другие иногда называют холодностью, не понимая, что это просто порядок. Учебники идут на подоконник — там широкий, шире, чем в общежитии, можно разложить сразу несколько. Фармакологию — отдельно, к ней возвращаться чаще. Физиологию поверх анатомии. Конспекты в стопку на столе, выровненные по краю. Ручки — в стакан, который она привезла из дома. Единственный предмет без утилитарного смысла, и то — стакан есть стакан.

Больше ничего декоративного нет. Это не потому что некогда, не потому что денег жалко. Просто незачем. Фотографии на стенах смотрят на тебя и ждут, чтобы ты на них смотрел. Эмилия не хочет ничего, что будет ждать от неё внимания.

Она расправляет постель — простыня, пододеяльник, наволочка — движениями, которые не требуют мысли. Руки делают, голова свободна. Голова составляет список: завтра — кафедра патофизиологии, в девять, нужно не опоздать. Послезавтра — ночная смена. Диплом Артёма Виноградова, который она взялась редактировать и который нужно отдать через две недели. Восемь тысяч, если не торговаться.

Потом она садится на матрас.

Просто садится. Сумка разобрана, постель застелена, учебники на месте. Следующее дело начнётся завтра в девять. Между сейчас и завтра — ничего.

Эмилия смотрит в потолок.

Пятно над окном похоже на очертания какой-то страны. Может быть, Норвегии. Может быть, просто протечки. Она не знает, зачем думает об этом, и усилием, почти физическим, переводит взгляд на подоконник с учебниками. Фармакология. Завтра — патофизиология. Перед сном надо бы повторить реакции декарбоксилирования, она их всегда путает.

Список дел разворачивается сам собой: купить крупу, выяснить, где здесь ближайший банкомат, уточнить у Нины из деканата насчёт подписи, позвонить в страховую по квитанции, которую ещё не открывала. Список длинный. Хороший.

Телефон вибрирует на матрасе рядом.

Мама.

Эмилия смотрит на экран одну секунду, потом принимает вызов.

— Ты уже доехала? — Голос матери. Не вопрос — начало разговора, который Эмилия уже знает наизусть.

— Доехала.

— Ты ела?

— Всё нормально.

— Я спрашиваю, ты ела?

— Да. — Она не ела. Это не имеет значения.

Эмилия переводит взгляд на окно, на серую полосу неба над колодцем двора. Мать могла бы спросить: тебе страшно? Тебе хорошо там? Ты уверена? Но мать не умеет этими словами. Мать говорит: ты ела, ты тепло оделась, ты не простудилась. Это её язык, и Эмилия его понимает — просто не хочет сейчас переводить.

— Куртку взяла, — говорит она ровно. — Мам, я немного устала с дороги. Завтра позвоню.

Пауза. Недолгая, но Эмилия её слышит — тот особый вид тишины, который мать умеет держать в трубке, не закрывая её.

— Хорошо. Спокойной ночи.

— Спокойной.

Она нажимает отбой первой.

Называет это про себя — экономией. Нет смысла разговаривать, когда нечего сказать. Нечего объяснять человеку, который не поймёт, что в этой квартире с облупленным подоконником и запахом чужого порошка — всё правильно. Что тишина здесь — не одиночество, а, наконец, возможность думать. Что она не убегала, она приходила.

Телефон остаётся лежать экраном вниз.

Эмилия снова смотрит в потолок.

Список дел завтра начнётся в девять. До девяти — шесть часов сна, если лечь сейчас, или пять, если сначала повторить декарбоксилирование. Она выбирает пять. Встаёт, берёт фармакологию с подоконника, садится к столу под лампу без абажура, которая бьёт прямо в лицо. Свет жёсткий, синеватый — дешёвая энергосберегайка, и под ней тени ложатся не туда, куда надо, но страницы читаются.

Своя лампа. Свой стол. Свой список.

Правильно.

* * *

Три стопки на столе. Эмилия раскладывает их методично, как препарат: аренда, еда, учебники. Деньги настоящие — снимала в банкомате у метро, не доверяя карточным абстракциям. Купюры немного мятые, пахнут чужими руками.

Двадцать четыре тысячи аренда. Минус. Остаток — вот он, осязаемый. Она пересчитывает, не торопясь, без калькулятора, складывая в уме столбиком, как учила мама в начальной школе: поставь нолик, перенеси единицу. Здесь нет ничего про маму. Здесь только цифры.

Еда. Эмилия знает, что на еде можно сэкономить: гречка, яйца, замороженные овощи, хлеб. Не потому что бедная — потому что незачем тратить время на готовку, если есть вещи важнее. Она откладывает стопку вправо. Достаточно.

Учебники. Здесь она не экономит. Здесь — принципиально нет.

Итого. Баланс сходится с точностью, которая ей нравится. Так и должно быть: жизнь, выверенная до знака после запятой.

Источников дохода два, она их предпочитает называть про себя именно так — источники, не подработки. Подработка — это когда стыдно или временно. У неё ни то ни другое.

Первый: консультационные услуги. Эмилия давно заметила, что студентам других специальностей требуется помощь с научными текстами, которые им не по силам и не по интересу. Она эту помощь оказывает — за фиксированную сумму, в срок, без лишних разговоров. Дипломные работы по педагогике, по экономике управления, однажды — по туризму и юриспруденции. Ей всё равно, что написано в шапке. Её интересует структура аргумента. Она умеет выстроить любой.

Это не называется тем словом, которое она не произносит, даже мысленно. Это — услуга. Интеллектуальная. Коммерческая.

Второй источник честнее в общепринятом смысле: ночные смены медсестры в двух клиниках по очереди. В первой — реанимационное отделение, запах хлоргексидина и монотонный писк мониторов. Во второй — приёмный покой, там пахнет иначе, острее, дешевле. Работа физическая, иногда — унижительная в том смысле, в котором унижает любой чужой беспомощный организм, требующий от тебя внимания в три ночи. Но она платит. И она — практика, живая, не кафедральная.

Эмилия не жалуется на усталость. Усталость — это информация о том, что ты работал. Она предпочитает информацию.

Ноутбук открывается со знакомым щелчком — петля немного расшатана, нужно бы отнести в ремонт, но это задача на потом, в списке ниже многих других. Почта. Два новых письма в папке для рабочей переписки, куда она перенаправила всё через фильтр: тема содержит «заказ» или «диплом» — сюда.

Первое письмо. Менеджмент в здравоохранении, третья глава, сдать через восемь дней. Нормально.

Второе письмо. Биоэтика, полная работа, сдать через десять. Она смотрит на дату. Смотрит на первое письмо. Снова на дату.

Принимает оба.

Восемь дней и десять дней накладываются друг на друга, как смены — одна на другую. Это решается. Всё решается, если не тратить время на оценку того, решается ли.

Она пишет два ответа — коротко, формально, без лишнего. Закрывает почту.

Расписание она ведёт в тетради, от руки. Не в телефоне, не в приложении — в тетради, потому что написанное от руки кажется ей настоящим договором с самой собой. Листок открывается на следующей неделе.

Понедельник. Кафедра в восемь. После — библиотека, источники для конференции. Вечером — первый кусок диплома по биоэтике.

Вторник. Кафедра. Ночная смена в первой клинике, с пяти вечера.

Среда. После смены — домой, два часа. Потом — снова кафедра. Вечером — диплом по менеджменту, первая глава.

Четверг. Кафедра. Подготовка тезисов для конференции, конспект двух статей, которые она ещё не читала. Ночная смена во второй клинике.

Пятница. После смены — три часа, кафедра, конференция через три недели, нужно ускориться. Вечером — биоэтика, вторая треть.

Выходные. Суббота: обе работы, обе главы. Воскресенье: то, что не поместилось.

Эмилия смотрит на написанное. Клетки заполнены аккуратно, без помарок. Неделя выглядит как неделя должна выглядеть — плотно, без зазоров, без провисания. Её успокаивает эта плотность. Незаполненное время — это время, в котором нужно что-то решать про себя, а она предпочитает решать про других.

Она захлопывает тетрадь.

На столе остаются три стопки купюр и пустая кружка, в которой давно остыл чай — налила его машинально, так и не выпила. За окном — Ставрополь в октябрьских сумерках, фонари включились рано, кто-то внизу хлопает дверью машины. Обычный звук. Ничего важного.

В расписании нет строчки «поужинать». Есть «купить гречку» в субботу, но это другое — это задача, а не потребность. Нет строчки «поспать»: сон вписан в промежутки между пунктами, как белое пространство между словами, само собой разумеющееся. Нет ничего, что не является задачей, пунктом, единицей работы.

Она смотрит на расписание ещё раз. Всё правильно. Всё — под контролем.

Кружка холодная.

* * *

Запах хлоргексидина она чувствует ещё в коридоре, за три метра до стеклянных дверей приёмного покоя. Потом — тепло, почти банное, смешанное с нашатырём и чем-то сладковатым, чего лучше не распознавать. Люминесцентные лампы заливают всё без теней, без изыятий — каждый угол, каждое лицо, каждое пятно на линолеуме под одним и тем же беспощадным светом.

Эмилия входит и думает: хорошо.

Не потому что красиво. Не потому что приятно. А потому что здесь всё устроено правильно: есть протоколы, есть иерархия, есть форма реагирования на любую ситуацию — и ни одна из них не требует, чтобы ты решал, что чувствовать прямо сейчас. Она расправляет плечи под медицинской робой, берёт у поста журнал и думает, что это, пожалуй, и есть её настоящий дом — не та квартира с чужим запахом и незашпаклёванной трещиной над подоконником.

Первый пациент ждёт уже полчаса.

Мужчина лет пятидесяти, грузный, в синтетической куртке, расстёгнутой на животе. Он сидит на каталке, наклонившись вперёд, и придерживает грудь — не сжимая, а именно придерживая, как будто боится, что что-то выпадет. Когда Эмилия подходит, он сразу начинает говорить. Говорит, не останавливаясь: что схватило два часа назад, что жена сказала «скорую не вызывать, само пройдет», что у него давление всегда было хорошее, что на прошлой неделе таскал мешки на даче, что отец умер в шестьдесят два от инфаркта, что зять говорит, что это нервное, что он и сам так думает, но вот жена всё-таки настояла.

Эмилия слушает вполуха — не из небрежности, а потому что слушает иначе. Пока он говорит, она смотрит: кожа обычного цвета, без серости, без испарины. Дыхание ровное, чуть учащённое — тревога, а не гипоксия. Рука у грудины — латеральнее, чем бывает при истинной сердечной боли. Движения — свободные, без защитной скованности.

— Покажите, где именно болит.

Он показывает — правее, ниже, туда, где рёбра. Она просит глубоко вдохнуть. Он вдыхает и морщится. Она просит ещё раз. Снова морщится в той же точке.

Межрёберная невралгия, — думает она, — *с вероятностью процентов восемьдесят. Мешки на даче, добро пожаловать.*

— Вас зовут как? — спрашивает он вдруг, когда она пишет в карту.

Она поднимает голову.

— Эмилия.

— Красивое имя, — говорит он. — Редкое.

Она кивает и возвращается к карте. Он ещё что-то говорит — кажется, про дочь, которую тоже как-то необычно назвали, — но Эмилия уже не слышит. Она думает о том, нужна ли здесь ЭКГ для исключения — нужна, конечно нужна, она уже тянется за направлением — и о том, что если мешки тяжелее пятнадцати килограммов, то это не нервное, зятю надо бы объяснить.

Она не замечает, что он назвал её по имени второй раз.

Дежурный врач — молодой, немного старше неё, в мятом халате — принимает бумаги молча, просматривает не поднимая глаз. Кивает. Делает пометку.

— Возьмите у него кровь на тропонин, поставьте в очередь на ЭКГ.

— Сделано, — говорит Эмилия.

Пауза. Он вписывает что-то в свой журнал.

— Всё, — говорит он.

Она уходит. В затылке почти слышно что-то, что в другое время могло бы стать раздражением: не «спасибо», не «хорошо», даже не взгляд — просто «всё». Но Эмилия решает, что это нормально. Здесь так. Он видел, что она справилась, иначе бы сказал. Молчание как знак — она держится за эту мысль уже в коридоре, держится ровно столько, сколько нужно, чтобы дойти до следующей каталки и перестать об этом думать.

В три ночи отделение затихает.

Не по-настоящему — где-то за углом кто-то кашляет, в конце коридора хлопает дверь, дальний монитор пищит своё бесконечное — но это фоновый шум, почти белый, почти как тишина. Эмилия стоит у автомата и смотрит, как в бумажный стакан льётся что-то бурое, что автомат числит чаем. Берёт стакан. Делает глоток. Чай холодный — не потому что она забыла его взять вовремя, а потому что автомат выдаёт его уже холодным, и это маленький обман, на который она всякий раз не успевает подготовиться. Пластиковый стакан мнётся в пальцах чуть больше, чем должен.

Она стоит и не думает ни о чём.

Это происходит само — мысли заканчиваются, как заканчивается страница, и секунду-две ничего нет: ни тропонина, ни конспекта по фармакологии, ни завтрашнего семинара, ни расчёта того, хватит ли денег до конца месяца, если вычест коммунальные. Просто коридор. Просто холодный чай. Просто люминесцентный гул.

И сразу — страх.

Не большой, не с именем. Просто ощущение: что-то идёт не так, когда вот так стоишь и не делаешь ничего. Она ставит стакан на край подоконника, расстёгивает карман, достаёт конспект — мятый, зачитанный, с её собственными пометками на полях. Открывает на середине. Читает. Не потому что это нужно прямо сейчас. А потому что нужно что-то читать прямо сейчас.

Монитор в конце коридора пищит. Она переворачивает страницу.

Утром, когда смена кончается, на улице уже светло — той ранней, бессильной светлотой, которая не греет. Эмилия едет домой на маршрутке с тремя пассажирами: пожилая женщина с сумкой, рабочий в оранжевом жилете, мальчик лет шести, который спит, привалившись к стеклу.

Она смотрит в окно и думает, что это был хороший дебют.

Квартира встречает её, как и накануне, запахом — не плохим и не хорошим, просто чужим. Она входит, ставит рюкзак, снимает кроссовки. Запах висит — краска, чужие годы, чужой быт, въевшийся в штукатурку. Она замечает его снова — как замечала утром, как замечала вчера, когда заносила вещи.

Нейтральный, — думает она.

И думает это чуть тверже, чем вчера. Чуть аккуратнее. Как будто слово требует некоторого усилия, чтобы лечь на своё место и больше не шевелиться.

* * *

Матрас пах чужим. Не плохо — просто чужим, с примесью чего-то неопределённо-синтетического, что, должно быть, осталось от предыдущих жильцов или от самого поролонa, из которого всё это было сделано. Эмилия лежала поверх покрывала, в джинсах и футболке, с намерением встать через полчаса — принять душ, поставить чайник, разобрать вещи, которые она так и не разобрала с утра.

Полчаса. Только полчаса.

Потолок был белым. Совершенно ровно белым, без единого пятна, трещины, без той рыжей разводины над батареей, которая в родительской квартире висела третий год и которую никто не собирался закрашивать. Нейтральный потолок. Потолок, который ничего не обещал и ничего не напоминал.

Тишина здесь была другой.

Она не сразу поняла, в чём дело. В родительском доме тишина никогда не бывала настоящей: даже в три ночи где-то на кухне ходили часы с кукушкой — кукушка не куковала уже года два, но механизм тихо щёлкал, и этот звук стал чем-то вроде пульса квартиры. Здесь не было ничего. Только её собственное дыхание и отдалённый гул города за окном — ровный, безликий, не имеющий отношения к ней.

Она уставилась в потолок.

Итак. Завтра — цикл по хирургии, восемь утра, явиться за пятнадцать минут, успеть забрать халат из прачечной, нет, прачечная работает до шести, значит, сейчас, прямо сейчас надо встать и — нет, завтра, прачечная завтра не нужна, халат чистый, она же проверяла. Хорошо. Значит: восемь утра, цикл по хирургии, Левченко в среду проводит обход, нужно повторить топографию треугольников шеи, она это знает, но лучше повторить. Потом — в деканат, узнать насчёт зачётной ведомости, которую Алина должна была сдать ещё в пятницу, и которую, судя по всему, придётся переделывать. Потом диплом — четыре страницы, если сидеть до часа ночи, можно закрыть третью главу, Снегирёв ждёт до четверга, он платит чуть хуже Мирзоева, но зато никогда не правит постфактум. Потом — смена в субботу, выходить в пять часов вечера. Потом. Потом. Список разворачивался в темноте за закрытыми веками, плотный и правильный, как жгут, наложенный на артерию: держит, не пускает, отвлекает от чего-то, у чего пока нет имени.

Она засыпала.

А потом за стеной что-то грохнуло — не сильно, просто сосед уронил что-то или включил телевизор на повышенной громкости, обрывок чужого голоса, смех, снова тишина. Эмилия лежала с открытыми глазами, и сердце у неё билось так, будто она только что вбежала на пятый этаж.

Она отметила это профессионально, почти автоматически: тахикардия около девяноста, не более. Реакция на непривычную звуковую среду, на неконсолидированный сон в новом месте. Стандартная адаптационная реакция. В учебнике это занимало полабзаца под заголовком «ориентировочный рефлекс».

Она не назвала это тревогой.

За окном Ставрополь жил своей безразличной ночной жизнью. Машина проехала, остановилась, завелась снова и уехала. Где-то в другом конце коридора хлопнула дверь — наверное, туалет. Здание было живым, просто чужой жизнью, которая не замечала её и не собиралась.

Эмилия смотрела в потолок.

Нейтральный. Белый. Ничего не обещающий.

И тогда — быстро, как тень от облака, — мелькнула мысль: *а вдруг нет?*

Без уточнения. Без предмета. Просто: а вдруг нет. А вдруг она — нет, неправильно, не так. А вдруг всё это — квартира, матрас с чужим запахом, четыре страницы чужого диплома, ночные смены, треугольники шеи, список на завтра — а вдруг это не то, о чём она —

В субботу смена начинается в семнадцать ноль-ноль. Нужно уточнить у старшей медсестры, кто будет в паре. В прошлый раз была Надежда Петровна, с ней тяжело, она медленная и жалуется, лучше бы кто-то из молодых. Ещё нужно оплатить интернет — автоплатёж должен был пройти, но лучше проверить, потому что однажды уже не прошёл в самый неподходящий момент. И позвонить в деканат насчёт ведомости, не ждать, пока Алина соизволит.

Мысль ушла.

Её даже не пришлось прогонять. Она просто ушла, вытолканная следующим пунктом, и следующим, и ещё одним.

Где-то около пяти она потянулась за ноутбуком — он лежал в ногах, тёплый, как живой, — открыла файл с третьей главой чужого диплома и начала читать с того места, на котором остановилась. «Патогенез хронической сердечной недостаточности». Снегирёв учился на четвёртом курсе и не знал разницы между преднагрузкой и постнагрузкой, что было его личной проблемой и, в некотором смысле, её заработком.

Она набрала три абзаца.

Потом ещё один.

Потом пальцы замедлились, зависли над клавиатурой, и ноутбук остался открытым у неё на груди — курсор мигал в конце недописанного предложения про remodelирование левого желудочка. За окном серело. Не рассвет ещё, просто та промежуточная темнота, которая уже перестала быть ночью, но ещё не решила, чем станет.

Эмилия спала.

Список дел светился на экране в пустой комнате — чужой диплом, её почерк, нейтральный потолок над головой. На кухне не было часов с кукушкой. Никто не щёлкал, не скрипел, не давал квартире пульс.

Только экран. Только серое окно. Только она, уснувшая так и не раздевшись, — и где-то за этим всем, под плотным расписанием на завтра, на послезавтра, на всю неделю вперёд, — что-то лежало тихо, не называя себя, и ждало.

Глава 2. Латынь как броня

За пятнадцать минут до начала коридор клинической кафедры пуст, и это правильно. Так и должно быть — прийти первой, застать пространство до того, как оно наполнится людьми, дыханием, чужой суетой. Эмилия стоит у окна между двумя дверями с табличками «Ординаторская» и «Учебная комната №3», и линолеум под ногами отдаёт холодом сквозь тонкую подошву. Пахнет хлоргексидином — резко, с металлическим послевкусием, — и под ним, глубже, той особой мастикой, которой натирают полы в старых больничных корпусах. Люминесцентные лампы гудят на одной ноте, чуть дребезжа на стыке трубки и дросселя. Одна мигает в дальнем конце коридора, короткими рваными вспышками, и никто не спешит её менять. Никто никогда не спешит.

Она открывает конспект, но не читает. Читать нечего — всё уже там, внутри, разложено по полкам. Она просто ведёт глазами по строчкам и перебирает слова, как перебирают чётки. *Cholecystitis calculosa*. Не «камни в желчном» — так говорят растерянные родственники в приёмном, теребя направление до бумажной трухи. Она говорит иначе. *Pancreatitis acuta*. *Peritonitis diffusa*. Слова тяжёлые, литые, у каждого своя форма, свой вес в горле. Она произносит их про себя не потому, что боится забыть — забыть она не может, это как бояться забыть собственное имя. Она произносит их, потому что это надевается. Слой за слоем, как хирург надевает перчатки: сначала одну, потом другую, разглаживая пальцы, проверяя, нет ли складки.

Латынь не для больного. Больному всё равно, как называется то, что его убивает. Латынь для тех, кто стоит рядом. Кто владеет ею — тот внутри, тот защищён; кто путается в окончаниях, кто говорит «воспаление лёгких» вместо *pneumonia*, тот снаружи, тот открыт для удара. Эмилия знает это не из учебника. Она усвоила это раньше — тогда, когда впервые поняла, что можно быть безупречной и всё равно оставаться мишенью, и что единственная разница между тем и другим — сколько правильных слов ты успеваешь произнести до того, как тебя перебьют.

Коридор начинает наполняться. Сначала звук — шаги, приглушённые голоса на лестнице, чей-то смех, оборванный на середине, будто вспомнили, где находятся. Потом лица. Однокурсники стягиваются к дверям учебной комнаты, кто с кофе в бумажном стакане, кто ещё дожёвывая на ходу. Кто-то прислоняется к стене, кто-то листает телефон. Эмилия не поднимает головы.

— Ягиш. Привет.

Гоша. Она узнаёт его по голосу раньше, чем видит, — по этой чуть приподнятой на конце интонации, будто он не здоровается, а спрашивает разрешения поздороваться. Он останавливается рядом, слишком близко, и до неё доходит запах его геля для волос, дешёвого, яблочного, липнущего к ноздрям.

— Привет, — говорит она конспекту.

— Готовилась? — Он заглядывает через её плечо, но она чуть поворачивает страницу к себе. — Я вообще не помню, что там по желчному. Всё в кучу.

— Успеешь, — отвечает она ровно, не тепло и не холодно. Никак. Так, чтобы разговор не за что было ухватить, чтобы он соскользнул.

Гоша топчется ещё секунду, ищет, за что зацепиться, и не находит. Отходит. До неё долетает, как он говорит кому-то у стены: «Слушай, а ты по язвенной готов?» — и в его голосе облегчение оттого, что нашёлся кто-то, кто ответит длиннее двух слов. Ей это безразлично. Ей нужны эти четверть часа не на разговоры.

И тогда меняется воздух.

Она не видит его — она чувствует, как стихает коридор. Голоса не обрываются разом, они гаснут волной, от лестницы к дальнему концу, будто кто-то ведёт рукой по клавишам, снимая

звук. Стакан с кофе исчезает за спиной. Телефоны прячутся в карманы. Эмилия закрывает конспект.

Левченко идёт по коридору тяжело, но не медленно — так ходят люди, которым некуда торопиться не потому, что времени много, а потому, что время подстраивается под них. Халат на нём сидит без единой складки, застёгнутый на все пуговицы до горла, накрахмаленный до той степени, когда ткань уже не ткань, а панцирь. Ни пятна, ни затяжки. Он не несёт папки, не смотрит в бумаги. Он просто идёт, и группа перед ним расступается сама, без команды, как расступается вода.

Взгляд его скользит по студентам, и Эмилия ловит этот взгляд, разбирает его на составляющие — потому что не разобрать не может, это сильнее её. Он не смотрит в лица. Он не ищет знакомых, не отмечает, кто пришёл, кто опоздал, кто побледнел заранее. Его глаза движутся по группе так, как её собственные глаза движутся по монитору в реанимации: сатурация, давление, ритм. Не человек — набор показателей. Он не видит Гошу с его яблочным гелем, не видит девочку у стены, комкающую в кармане платок. Он видит потенциальные ошибки. Пробелы. Места, куда войдёт вопрос и не встретит сопротивления.

Он не здоровается. Проходит мимо, к двери учебной комнаты, и на долю секунды его взгляд задевает Эмилию — не задерживаясь, ровно как задел всех остальных. Инвентарная опись. Единица хранения. Она для него не Эмилия Ягиш, отличница, староста-соперница, будущий ординатор — она пункт в списке, который он сейчас будет проверять на комплектность.

И вот что поднимается в ней в эту секунду — то, чего она не хочет чувствовать и всё равно чувствует, потому что честность перед собой у неё пока ещё есть, хотя бы в мелочах.

Не страх. Что-то другое. Тугое, неудобное, похожее на уважение.

Потому что она понимает его. Она понимает эту оптику до последней детали — смотреть не на людей, а на симптомы, не отвлекаться на лица, потому что лица врут, а симптомы нет. Она сама так смотрит. Она сама так училась смотреть — годами, старательно, считая это профессионализмом. И теперь, глядя на его прямую спину в накрахмаленном панцире, она узнаёт в нём не учителя и не палача.

Она узнаёт в нём себя через тридцать лет.

Эта мысль неприятна, как игла под ноготь, и она отодвигает её тем единственным способом, который умеет. Открывает конспект снова. *Cholecystitis calculosa. Pancreatitis acuta.* Слова ложатся на место, слой за слоем, и под ними становится тихо.

Левченко берётся за ручку двери.

— Заходим, — говорит он, не оборачиваясь.

Голос ровный, без нажима. Так объявляют начало смены, а не приговор. И всё же группа втягивается в учебную комнату молча, гуськом, и Эмилия входит последней — не потому, что боится, а потому, что хочет видеть спины впереди. Хочет знать, где встанет каждый.

Она уже надела всё, что можно надеть. Броня застёгнута до горла. Осталось проверить, держит ли она удар.

* * *

Первая палата пахнет так, как пахнут все палаты в этом крыле — тёплым бельём, разведённым хлоргексидином и той сладковатой нотой распада, которую здесь никто не называет вслух. Левченко входит первым. Группа втягивается за ним, и Эмилия занимает место у второго окна — не в первом ряду, где стоят те, кто хочет казаться заметным, и не в последнем, где прячутся те, кто хочет быть незаметным. Между. Оттуда всё видно и всё слышно.

Он останавливается у кровати справа. Пожилой мужчина полулежит, приподнятый на трёх подушках, — ортопноэ, тело само выбрало позу, в которой легче дышать. Грудная клетка ходит часто и мелко, с тонким свистом на выдохе. Левченко не здоровается с ним и не называет его группе. Кивает подбородком в его сторону, будто указывает на препарат в банке.

— Ну.

Слово падает в пространство, ни к кому. Пауза растягивается. Кто-то за спиной Эмилии сглатывает, и звук этот кажется в тишине неприлично громким.

Она ждёт ровно два удара сердца — не потому что не знает, а потому что бросаться отвечать первой значит выдать голод. Потом говорит.

— Хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации. Одышка инспираторного характера, ортопноэ, вероятны застойные хрипы в нижних отделах. Патогенез — снижение сократительной способности миокарда, повышение давления в малом круге, транссудация. Дифференцировать следует с ХОБЛ, тромбоэмболией лёгочной артерии, пневмонией. *Cog pulmonale* исключается по анамнезу.

Голос ровный. Ни вопросительной интонации в конце, ни подъёма, каким выпрашивают одобрение. Латынь ложится в русскую речь чисто, как швы под кожу — незаметно, если рука твёрдая.

Левченко смотрит на мужчину. На неё — нет.

— Чем подтвердите?

Сложнее. Хорошо.

— Эхокардиография с оценкой фракции выброса. BNP или NT-proBNP. Рентгенография — кардиомегалия, признаки венозного застоя, возможно, линии Керли типа В. По классификации NYHA — ориентировочно третий-четвёртый функциональный класс, учитывая одышку в покое.

Тишина. Мужчина на подушках переводит взгляд с профессора на неё и обратно, не понимая ни слова, — для него это чужой язык, латынь как латынь, молитва как молитва.

Левченко разворачивается. Идёт к следующей кровати. Не кивнув, не хмыкнув, не сказав ничего. Просто перестаёт стоять там, где стоял.

И вот здесь, в этом полушаге, Эмилия ловит себя.

Она ждала. Не похвалы — она не настолько наивна, чтобы ждать похвалы от Левченко, о нём рассказывают на первом курсе как о стихийном бедствии, к которому надо готовиться, а не обижаться. Но кивка. Одного движения головы, которым признают: да, это было чисто, это было безупречно, ты сделала работу. Полсекунды признания за два безошибочных ответа. И этого ей не дали.

Злость приходит не на него. На себя. За то, что ждала.

Профессиональный стандарт, — говорит она себе, выравнивая дыхание под шумок передвигающейся группы. Ответ должен быть безупречным вне зависимости от реакции. Награда за работу — сама работа, сделанная правильно. Кто ждёт похвалы, тот ещё студент; кто не ждёт — уже врач. Она формулирует это чётко, аккуратно, и формулировка встаёт на место, как крышка на банку. Внутри что-то остаётся под крышкой. Она не смотрит туда.

Группа смещается. Эмилия задерживается на шаг — записать что-то в блокнот, которого на самом деле не нужно, просто рука ищет, чем себя занять.

— Девушка.

Тихо. Мужчина на подушках. Голос у него сиплый, растянутый на вдохах, как будто каждое слово он вытягивает из груди по отдельности.

— Николай Петрович, — уточняет он, будто извиняясь, что беспокоит. — Скажите... долго ещё? Обход этот. Мне бы сына дожидаться, он к двенадцати обещал.

Она смотрит на него ровно столько, сколько нужно, чтобы ответить, и ни секундой дольше. В глаза заглядывать нельзя — там сразу всё, вся палата, весь третий-четвёртый функциональный класс, переведённый с латыни обратно на человеческое. Туда лучше не смотреть.

— Обход скоро закончится. По распорядку процедуры с одиннадцати, к двенадцати вы освободитесь. — Пауза. — Всё по расписанию.

Он кивает, успокоенный не смыслом, а тем, что ему ответили. Ему хватает и этого. Эмилия отворачивается и идёт за группой, и где-то на границе слышимости остаётся его «спасибо», сказанное в спину, — но это она уже фиксирует не как обращение, а как звук, отмеченный и опущенный.

Всё по расписанию. Она сама себе бы поверила.

Левченко останавливается у двери палаты. Группа уплотняется у выхода, дыша друг другу в затылки. Он не оборачивается ко всем — говорит вбок, в коридор, куда уже смотрит.

— К следующему разу — осложнения декомпенсации. Отёк лёгких, кардиогенный шок, нарушения ритма. Механизмы, неотложная тактика. Кто не разберёт — я узнаю на первом же вопросе.

Он не смотрит на неё, когда говорит это. Но задание — её. Она это знает так же точно, как знала фракцию выброса. Продолжение разговора, который для него разговором не был.

Эмилия открывает блокнот на чистой странице и записывает: осложнения ХСН — механизмы, тактика. Ставит дату. Ручка ложится ровно, буквы выходят мелкие и правильные.

Точка.

* * *

Обход перетекает во вторую половину коридора, где палаты идут гуще, а воздух плотнее — хлоргексидин, остывший пот, что-то сладковатое из третьей палаты, куда лучше не заглядывать. Левченко останавливается у койки, читает историю, не садясь. Мужчина под шестьдесят, желтоватый, дышит поверхностно. Эмилия уже сложила про себя картину — печёночная патология, отёки, асцит, — но ждёт, потому что ждать положено.

— Классификация, — говорит Левченко, не поднимая головы от листа. — По степени.

Он не уточняет, чего именно. Это и есть подвох — размытая формулировка, за которой прячется вилка: если брать одну шкалу, ответ один; если другую, принятую на их же кафедре, — другой. Правильных ответа два, и оба неправильны, если не назвать, какую систему берёшь за основу. Эмилия видит эту вилку сразу, как видят трещину в стекле — не думая, просто видя. Ей нужно полсекунды, чтобы выбрать, с какого края заходить, чтобы ответ прозвучал не как заученное, а как выбор.

Полсекунды.

— Не знаете?

Он говорит это ровно, в пространство, будто отмечает температуру за окном. Не ей — куда-то над её плечом, в коридор. Пауза, которую она держала как разбег, у неё изымают на середине и предъявляют группе как факт: студентка не знает.

— Знаю, — Эмилия слышит собственный голос и радуется, что он ровный. — Зависит от классификации. Если по функциональной шкале — стадия декомпенсации. Если брать балльную систему, которую мы разбирали, — класс уточняется по совокупности лабораторных и клинических критериев, и тогда цифра будет другой. Я не назвала одну, потому что вопрос допускает два прочтения.

Она произносит это чисто. Латынь ложится в нужные места, критерии перечислены в правильном порядке, разночтение указано — не как оправдание, а как знание. Это броня. Пока ты внутри терминологии, тебя не достать: язык, которым ты владеешь свободнее спрашивающего, — крепость.

Левченко слушает. Лицо у него не меняется. Ни складки у губ, ни движения в глазах — как будто она перечислила номер койки. Он выдерживает её ответ до конца, до последнего слова, и в этой полноте выслушивания есть что-то хуже, чем если бы он перебил. Потом он поворачивает голову на четверть — к Гоше, стоящему через двух человек.

— Вы. По функциональной шкале — стадия?

Гоша сглатывает, называет. Правильно. Левченко кивает — коротко, деловито — и переходит к терапии, к дозировкам, к тому, почему здесь не подходит стандартная схема. Ответа

Эмили в этом переходе нет. Он не опровергнут, не поправлен, не похвален. Он просто не состоялся. Место, где она стояла со своим двойным прочтением, аккуратно обошли, как обходят лужу, не глядя вниз.

Метод Сократа, — думает Эмилия. Так это называется. Педагогическая техника: держать студента в напряжении, не давать закрепиться в правоте, гонять по краю неуверенности, чтобы знание не костенело в самодовольство. Он не унижает — он тренирует. Пауза, которую он поймал, — не жестокость, а инструмент; хирург не жесток, вскрывая гнойник. Всё логично. Всё объяснимо. Она раскладывает это по пунктам, потому что раскладывать — легче, чем чувствовать. Если у боли есть название и функция, боль перестаёт быть болью и становится симптомом, а симптом можно наблюдать со стороны, отстранённо, почти с интересом.

Проблема в том, что интерес не приходит. Приходит что-то другое — горячее, тонкое, поднимается от грудины к горлу, и она давит это волевым усилием, как давят рвотный позыв, глотком воздуха через нос.

Группа молчит.

Вот что тяжелее всего — не вопрос, не пауза, не «не знаете» в пространство. Молчание. Восемь человек стоят полукругом, и никто не смотрит на неё. Все смотрят в пол, в разлинованные конспекты, на историю болезни в руках Левченко — куда угодно, только не в её сторону. Это не безразличие. Безразличие — когда не замечают. Это молчание того рода, каким сопровождают чужую неловкость, отводя глаза, чтобы не стать соучастником. Они видели. Они всё видели и теперь заняты тем, чтобы этого не видеть. Даже Гоша, ответивший вместо неё, разглядывает носки своих кроссовок так, будто там написан следующий вопрос.

Ей хочется, чтобы хоть кто-нибудь поднял глаза. Пусть с насмешкой, пусть с сочувствием — сочувствие она бы не приняла, отбила бы взглядом, — но пусть посмотрят. Быть побеждённой публично можно вынести. Быть стёртой — почти нет. Её ответ был безупречен, и его не стало; её саму как будто вынули из полукруга и поставили за скобку, и теперь все делают вид, что скобки пустые.

— Идём дальше, — говорит Левченко и уже отходит к следующей койке.

Полукруг сдвигается за ним, перестраивается, глотает пустое место, где она стояла. Эмилия делает шаг вместе со всеми. Спина прямая, подбородок ровно, лицо непроницаемое — этому она научилась раньше латыни, ещё в школе, где непроницаемость была единственной бронёй, которую не отнять.

Метод Сократа, — повторяет она про себя, уже входя в следующую палату. Слова гладкие, как отшлифованный камень. Держаться за них удобно.

Она держится.

* * *

В ординаторской пахнет остывшим кофе и растворимым бульоном — кто-то из ночных грел себе кубик в кружке и не домыл. Группа втискивается между шкафом с историями болезни и облезлой кушеткой, шесть человек на четыре стула, остальные стоят. Эмилия остаётся у окна, спиной к батарее, которая едва теплится под лопатками и не греет.

Левченко садится последним. Не в кресло у стола — на обычный стул, боком, как будто и он здесь на птичьих правах. Достает из портфеля учебник — не новый, с растрёпанным корешком, страницы в кофейных подтёках и карандашных пометках на полях. Кладёт на колено.

— Значит, так. Больной в третьей палате. Кто мне скажет, почему я не стал назначать ему нестероиды сразу?

Молчание. Не то, что было в палате, — там молчали от страха. Здесь молчат, потому что думают.

— Потому что боль межрёберная, — говорит он сам, не дождавшись, и голос уже другой. Ниже, ровнее, без той сухой бритвы, которой он полоснул её сорок минут назад. — А язвенный

анамнез — вот он, в выписке. Дадите ему диклофенак — получите кровотечение, и тогда невралгия покажется ему подарком. Всегда читайте, что было до вас. До вас всегда что-то было.

Он листает. Находит нужное, ведёт пальцем по строке, и палец чуть подрагивает — не от волнения, от возраста.

Эмилия слушает вполуха — сначала. Ждёт подвоха, следующего вопроса, ловушки. Так собака, которую однажды ударили за миску, ест, косясь на руку. Но подвоха нет. Он просто объясняет — как разбирают часовой механизм, показывая, где какое колёсико и зачем.

И вот тут ей становится неуютно.

Потому что он объясняет ****всерьёз****. Не для галочки, не для отчёта о проведённом занятии. Он говорит про дифференциальную диагностику боли в грудной клетке так, будто от того, поймут они или нет, кто-то через год не умрёт в приёмном покое от пропущенного инфаркта, спрятанного под маской «остеохондроза». Приводит случай — сам, из практики, без пафоса: мужчина, пятьдесят два, приняли за межрёберную, отпустили домой, вернулся уже на каталке.

— Я его помню, — говорит Левченко, и на секунду смотрит не на них, а в стену, где давно облупилась краска. — А фамилию — нет. Странно устроено.

Кто-то — кажется, тот самый, кого он разнёс на разборе гемодинамики, — поднимает руку. Робко.

— Борис Николаевич, а если у больного и то, и другое? И невралгия, и ишемия?

Эмилия внутренне сжимается за него. Сейчас. Сейчас будет.

Но Левченко не обрывает. Не морщится, не бросает своё фирменное «а голова вам зачем». Он откидывается на спинку и говорит:

— Хороший вопрос. Правильный. — И объясняет — про то, что одно не исключает другого, что человек не обязан болеть аккуратно, по учебнику, и что самая опасная ошибка — успокоиться на первом найденном диагнозе. — Нашли одно — не бросайте искать второе. Люди умирают не от редких болезней. Они умирают от того, что врач перестал думать раньше времени.

Студент кивает, что-то строчит. Левченко даже не помнит, что двадцать минут назад втоптал его в пол на глазах у всех. Для него это два разных человека — тот, у койки, и этот, с рукой. А может, и не два. Может, для него это вообще один процесс, где унижение и объяснение — не противоположности, а одно движение, разбор и сборка.

Эмилия смотрит на него и пытается уложить это во что-то простое.

Жёсткий, но справедливый. Вот формула. Готовая, удобная, из методички по педагогике. Строгий наставник, за суровостью — забота. Всё сходится. Можно закрыть тему и идти дальше.

Только формула не закрывает. Между «втоптал в пол» и «люди умирают, когда врач перестаёт думать» остаётся зазор — узкий, но она чувствует его кромку, как чувствуют языком скол на зубе. Человек, который не помнит её фамилии между обходами и не помнит фамилии больного, которого не спас, — и который до сих пор, через сколько там лет, помнит его лицо. Это не складывается в «жёсткий, но справедливый». В эту коробку это не входит.

Она откладывает. У неё хорошая память на отложенное — целая полка вопросов, которые она однажды разберёт, когда будет время. Времени не бывает. Полка растёт.

Левченко закрывает учебник. Смотрит на часы — не наручные, настенные, над дверью, с треснувшим стеклом.

— На сегодня всё. Читайте Мясникова, не методичку. Методичку писали те, кто больных не видел.

Встаёт. Портфель под мышку. И уходит — не попрощавшись, не кивнув, как будто в комнате никого. Дверь за ним не хлопает: он придерживает её, ловит и опускает мягко, до

тихого щелчка язычка. Это, пожалуй, единственная вежливость, которую он себе позволил за всё занятие, — и адресована она двери, а не им.

Группа выдыхает. Загалдели, задвигали стульями, кто-то тянется к кофеварке.

Эмилия остаётся у окна. В руках — конспект: её почерк, ровные строчки, схема дифдиагноза, всё правильно, всё как надо. Материал она усвоила. Материал — не проблема.

Проблема в том, что сегодня она чего-то не поняла. Не в учебнике — там всё ясно, там ишемия и невралгия по полочкам. Что-то другое прошло мимо, в стороне от текста, и она даже не может назвать, что именно. Только ощущение — как будто ей показали ответ на вопрос, который она не догадалась задать.

Она захлопывает тетрадь. Резче, чем нужно.

За окном во дворе кафедры голый тополь скребёт веткой по жести карниза — звук тонкий, зубной. Внизу, у морга, разгружают что-то из белого «уазика».

Потом разберусь, — думает Эмилия и идёт к двери.

Полка растёт.

* * *

В коридоре пахло меловой пылью и остывшим кофе из автомата в конце пролёта. После аудитории с её духотой воздух здесь казался почти прохладным, и Эмилия глотнула его, будто вынырнула. Она шла к лестнице, перекладывая на ходу тетрадь во внешний карман сумки, где ей было место, и в этот момент рядом оказался Гоша — не догнал, не окликнул, а просто пристроился сбоку, будто всегда тут был.

— Ты выбрала классификацию по локализации, — сказал он. Не спросил. — А Левченко хотел этиологическую.

— Он хотел, чтобы я сама объяснила, почему выбрала эту.

— И ты объяснила.

Она глянула на него коротко, сбоку. Он не заглядывал ей в лицо, смотрел вперёд, на площадку между этажами, где свет из окна ложился на выщербленную плитку косым бледным клином.

— Межрёберная невралгия, дорсопатия, туннельные синдромы — их удобнее группировать топографически, — сказала она. — Клинически это работает быстрее. Пациент показывает пальцем, где болит. Он не показывает пальцем на этиологию.

Гоша кивнул. Не сразу — с паузой, будто прокатил это внутри и нашёл, куда положить.

— Логично, — сказал он.

И всё. Ни «а я думал», ни «но ведь на самом деле». Он не начал перекраивать её ответ под свой, не полез уточнять, чтобы показать, что тоже читал. Просто согласился и замолчал.

Эмилия сбилась с шага на долю секунды. Люди так не делали. Люди, когда ты отвечала правильно, либо тухли, либо начинали доказывать, что знают не хуже. Гоша не делал ни того ни другого, и от этого возникало ощущение, будто она толкнула дверь, которая оказалась не заперта, и по инерции влетела в пустоту.

— Слушай, — сказал он, придерживая для неё тяжёлую створку на лестницу, хотя она вполне могла толкнуть сама. — К следующему разу он даст компрессионные синдромы. Там классификаций штук пять, и он будет их гонять. Хочешь — разберём вместе? Я сделаю таблицу, ты проверишь логику. Быстрее выйдет.

Он сказал это ровно, как коллега коллеге. Не «может, встретимся», не «было бы здорово». Рабочее предложение, обёрнутое в рабочие слова. И именно поэтому оно было неудобнее любого другого — на него нечем было ответить резко, оно не давало повода.

— Посмотрим, — сказала она.

Что означало «нет». Она знала, что означает «нет», и знала, что он, скорее всего, тоже знает. Но «посмотрим» — вежливое слово, за ним нельзя гнаться, оно закрывает дверь, не хлопая ею.

Они спустились на пролёт. Внизу кто-то смеялся, звук отскакивал от стен и терялся под лестницей, как монетка в темноте.

Разбирать вместе. Она прокрутила это про себя, пока ставила аргументы в ряд, как всегда ставила. Вместе — значит, объяснять ему, почему она выбрала так, а не иначе. Значит, ждать, пока он допишет свою таблицу, пока догонит, пока сформулирует. Значит, подстраивать темп под чужой, а её темп был единственным, в котором всё держалось. Одна она прогоняла материал за час. Вдвоём — за вечер, с разговорами, с «а вот тут я не понял», с необходимостью быть терпеливой, а терпение стоило ресурса, которого у неё было ровно столько, сколько нужно на себя, и ни граммом больше.

Это звучало убедительно. Это всегда звучало убедительно.

— Ладно, — сказал Гоша. — Если что — я в общем чате.

Он не обиделся. Она проверила его лицо — привычно, как проверяют монитор пациента, — и не нашла ни поджатых губ, ни быстрого отвода глаз, ничего, что цеплялось бы за отказ. Он и правда, кажется, просто предложил и просто принял, что не получилось. Как будто «нет» не было для него раной, а было информацией. Странно. Обычно люди, которых отодвигаешь, оставляют на тебе отпечаток своей обиды, лёгкий ожог, и ты потом чувствуешь его несколько дней. От Гоши не осталось ничего.

— Спасибо, — сказала она. Слово вышло чуть суше, чем хотелось.

Он кивнул, поправил лямку рюкзака и свернул в боковой коридор, к деканату, — быстрым, не задерживающимся шагом человека, которому есть куда идти. Не оглянулся.

Эмилия осталась у окна на площадке. За стеклом внутренний двор, голый тополь, лужа с тонкой первой коркой льда по краю. Она смотрела Гоше вслед секунду — потом ещё секунду, лишнюю, ненужную, в которой не было ни расчёта, ни цели. Просто смотрела на удаляющуюся спину в тёмной куртке, пока та не свернула за угол.

Она не поняла, зачем смотрела. Занесла это в графу «усталость» — там уже лежало многое, что не хотело объясняться, — и пошла вниз, к выходу, застёгивая на ходу молнию сумки до самого верха, чтобы ничего не выпало.

* * *

Квартира встречает её так, как встречает всегда, — ничем. Ни звука, ни движения, только запах чужого ремонта, который ещё не выветрился: грунтовка, свежая краска, что-то химическое под ней, чему нет названия. Полгода назад здесь жил кто-то другой, потом стены перекрасили, и теперь стены пахнут отсутствием. Эмилия щёлкает выключателем в прихожей, снимает куртку, вешает её на единственный крючок.

Чайник — первым. Всё всегда первым, если делается в определённом порядке. Она наливает воду из-под крана, ставит, поворачивает ручку. Синий венчик занимается неохотно, с хлопком, лизнув дно металла. Пока греется, она раскладывает конспекты на кухонном столе — тетради слева, распечатки справа, ручка сверху, параллельно краю. Ритуал. Она знает, что это ритуал, и знает, что ритуал ничего не значит, кроме иллюзии, что вещи на своих местах. Но иллюзия работает. Стол выглядит как стол человека, у которого всё под контролем.

День был хороший.

Она думает это отчётливо, как ставит галочку. Обход прошёл хорошо. Левченко спрашивал — она отвечала. Клиника, дифференциальный ряд, механизм, дозировка. Ни разу не сбилась, ни разу не полезла в память вслепую. Держала темп, держала латынь, держала лицо. Это и есть работа: знать и не показывать, что знать было трудно. Она справилась. Слова складываются правильно, ровно, как инструменты на лотке перед процедурой. Всё на месте.

Что-то в них не защёлкивается до конца.

Она наливает себе воды, ещё не кипятком, просто чтобы занять руки. Пьёт. Ставит стакан на стол, чуть громче, чем надо.

Была пауза. Полсекунды — на вопросе про механизм гипотензивного эффекта, когда она на долю мгновения выбирала между двумя формулировками, и Левченко это перехватил. Не словом — взглядом, чуть вбок, мимо неё, будто пометил в невидимой ведомости. И тут же следующий вопрос, жёстче. Она ответила. Ответила безупречно.

Рабочий момент, говорит она себе. Так и должно быть. Он проверяет не знание — устойчивость. Полсекунды ничего не решают.

Она уже думала об этом сегодня. И в маршрутке думала, глядя в мутное, запотевшее по краю окно. И на лестнице, поднимаясь на свой этаж. Третий раз. Она отмечает это спокойно, как симптом у постороннего: навязчивое возвращение к нейтральному эпизоду. Значит, эпизод не нейтральный. Значит — но тут мысль обрывается, потому что чайник начинает подрагивать, и это удобный повод не заканчивать.

Николай Петрович, палата шесть. Пожилой, после инсульта, с речью, которая ползёт медленно, как вода по наклонной. Когда обход двинулся дальше, он поймал её за рукав халата — не сильно, двумя пальцами, суховатыми и лёгкими, — и спросил, растягивая:

— Долго ли ещё?

Она не задержалась. Улыбнулась, сказала «врач подойдёт», высвободила рукав и пошла за группой, потому что группа не ждёт, потому что отстать от обхода — значит показать, что расставила приоритеты неправильно. Это профессиональная необходимость. Нельзя быть с каждым. Если быть с каждым, не будешь ни с кем, и тебя вынесет из системы, как вымывает песок.

Профессиональная необходимость.

Пауза.

Долго ли ещё. Она не помнит, о чём он спрашивал. О жизни, о капельнице, об очереди на процедуру. О том, долго ли ещё вот так. Она не обратила внимание. Она пошла дальше.

Чайник закипает. Она снимает. Наливает кипяток в кружку, на дне которой ждёт пакетик, и вода темнеет, закручиваясь, как что-то живое, потом успокаивается.

За окном — двор-колодец и дом напротив, окно в окно. Там горит свет в нескольких квартирах. В одной — синее мерцание телевизора, движется силуэт, кто-то встаёт, идёт, возвращается. В другой — женщина у плиты, спиной. В третьей просто жёлтый прямоугольник без людей, но с людьми где-то в глубине. Чужие окна, чужая жизнь, разложенная по ячейкам бетона, и каждая ячейка светится своим.

Она держит кружку обеими руками. Тепло проходит в ладони, ползёт по пальцам, отдаёт в запястья. Пар поднимается и оседает на холодном стекле мелкой моросью.

Завтра разберёт осложнения гипертонической болезни. Основательно, по учебнику, чтобы полсекунды больше не было.

Это звучит как ответ. Ровный, готовый, правильный ответ.

Только вопроса она вслух не задавала.

Глава 3. Что было до

Раздевалка встречает её запахом чужого дня — остывшего пота, дешёвого стирального порошка, хлоргексидина, впитавшегося в кафель настолько, что он уже не запах, а свойство воздуха. Эмилия открывает свой шкафчик третьим ключом связки, не глядя. Синий костюм сложен так, как она сложила его сутки назад: штанины к штанинам, рубаха вверх горловиной. Порядок — это не привычка. Порядок — это то, что не надо решать заново каждую ночь.

Она переодевается быстро, без зеркала. Хлопок ложится на кожу прохладно, чуть жёстко после сушилки — фактура, которую она давно перестала замечать, но сейчас замечает: прикосновение конкретное, настоящее, здесь. Тесёмки на поясе завязывает двойным узлом — однажды они развязались посреди коридора, и она подобрала концы, не сбавляя шага, но запомнила ощущение: секунду ты не собрана. Секунды достаточно. Маску пока на шею, не на лицо. Шапочку — под волосы, все до одного, ни одной пряди на висок. Движения такие, что мысли в них не участвуют. Так руки хирурга завязывают шов, пока голова думает о следующем.

Готово. В стекле дверцы шкафчика — не лицо, а размытое синее пятно с белым верхом. Она его не рассматривает.

В коридоре реанимации свет ровный, без теней — потолочные панели горят все сразу, чтобы никто не искал выключатель в четыре утра. Смену сдаёт Марина, которую Эмилия знает по фамилии в журнале и по лицу — сейчас это лицо серое, с отпечатком маски поперёк щёк, глаза как после долгого плача, хотя она не плакала, просто отработала двенадцать часов.

— Шестая койка — Гринёв, семьдесят два, постинфарктный, на норадреналине, ноль-три, держим давление на нижней границе, — говорит Марина ровным голосом человека, который хочет одного: договорить и уйти. — Восьмая — Тагирова, вентилируем, седация пропофолом, санировали в два, отделяемое умеренное. Четвёртая — новенький, поступил в двадцать три сорок, панкреонекроз, лист вот.

Эмилия записывает. Гринёв, 0,3. Тагирова, санация 02:00. Панкреонекроз — четвёртая. Ручка идёт по бумаге без нажима, буквы мелкие, разборчивые. Она не переспрашивает ни разу, и Марина смотрит на неё секунду дольше нужного — так смотрят, когда не могут понять, это хорошо или плохо.

— Всё, — говорит Марина. — Спокойной.

Спокойной здесь никто не желает всерьёз. Это как «здравствуйте» — звук на месте слова.

Обход Эмилия делает не по номерам коек, а по громкости тревоги, которую они пока не подают. Шестая — Гринёв. Монитор: синус, восемьдесят четыре, давление девяносто на пятьдесят, держится. Капля норадреналина падает в счётчике перфузора с той частотой, которая означает — пока хватает. Грудь под простынёй поднимается сама, без аппарата. Это хорошо. Она проверяет уровень в шприце, дату на пакете, скорость на насосе. Цифры сходятся. Дальше.

Восьмая. Тагирова. ИВЛ дышит за неё — вдох, пауза, выдох, механический ритм чище любого живого. Сатурация девяносто семь. Мешок мочеприёмника заполнен на треть, моча соломенная, прозрачная — почки работают. Эмилия отмечает диурез, не поднимая глаз выше линии простыни. Лицо на подушке она видит боковым зрением, как видит стену: оно есть, оно на своём месте, оно не требует, чтобы на него смотрели.

Четвёртая. Новенький, панкреонекроз, поступил три часа назад. Молодой — это она отмечает, потому что молодость на этой койке статистически хуже, острее течёт, быстрее срыгается. Лист назначений плотный. Она сверяет инфузию, антибиотик, обезболивание. Всё капает. Всё идёт.

Три единицы. Три набора цифр, которые она обязана удержать в равновесии до восьми утра. Не три человека — это придёт потом, если придёт вообще. Сейчас удобнее так. Удобнее — не то слово. Правильнее.

Между четвёртой и постом сестры — окно. Она не собиралась у него останавливаться, но останавливается.

За стеклом — ночной Ставрополь, вид со второго этажа во двор клиники и дальше, поверх забора, на пустую улицу. Фонарь через один, оранжевый натриевый свет, от которого асфальт кажется мокрым, даже когда сухо. Ни машины. Дерево у забора — она не знает какое — стоит без единого движения, значит, ветра нет. Где-то очень далеко, за домами, красный огонёк на вышке мигает в своём ритме, не совпадающем ни с одним монитором за её спиной.

Она стоит. Руки сложены, спина прямая. За спиной — ровное дыхание аппарата на восьмой, тихий писк перфузора на шестой, гул вентиляции в стенах. Здесь всё считаемо. Здесь у всего есть норма, отклонение и цифра, которую можно вернуть в норму.

Она не думает ни о чём. То есть — думает, но не словами. Что-то стоит на пороге мысли и не переступает, как санитар, которому не сказали войти. Она это замечает — краем, тем же боковым зрением, каким смотрела на лицо Тагировой, — и не поворачивается к нему.

За стеклом ничего не меняется. Фонарь горит. Огонёк мигает.

Через минуту монитор на седьмой койке меняет тон — на полтона, почти неслышно. Эмилия отходит от окна раньше, чем звук успевает стать тревогой.

* * *

Койка семь. Мужчина лет семидесяти, кожа цвета старой бумаги, натянута на скулах так, что видно, где кость. Трубка выходит из угла рта, закреплена пластырем, который кто-то менял неаккуратно — краешек отклеился. Эмилия отмечает это машинально, как отмечают опечатку в чужом тексте. Аппарат вдыхает за него — ровно, с коротким шипением в конце каждого цикла. Он не видит её. Глаза прикрыты, под веками ничего не движется.

Флакон пуст на две трети. Она берёт новый с лотка, читает этикетку, сверяет с назначением в карте — не потому что не помнит, а потому что так делается, всегда, каждый раз. Пережимает магистраль, отсоединяет старый флакон, надевает новый, отпускает зажим. Пузырь воздуха, крошечный, ползёт вверх по трубке — она щёлкает по ней ногтем, и он рассыпается. Капли идут одна за другой, ровным счётом. Восемь секунд между. Она стоит и считает, хотя считать незачем.

Руки делают всё сами. В этом есть что-то почти утешительное — тело знает порядок, когда голова пустует.

Запах хлоргексидина стоит здесь плотно, как вода. Она к нему привыкла ещё на третьем курсе, перестала замечать — так же, как перестаёшь замечать собственное дыхание. Но сейчас к нему подмешивается другое. Что-то влажное, минеральное, землистое. Мокрая штукатурка. Извёстка, набравшая воды.

И на секунду — не дольше — пол под ногами перестаёт быть линолеумом реанимации.

Это коридор. Длинный, с высокими окнами, за которыми серо, и по стёклам сползает дождь. Пахнет мелом и мокрой стеной, потому что здание старое и после ливня штукатурка всегда отдаёт этой сыростью, всегда, сколько ни крась. Впереди спины. Много спин в одинаковой синей форме, они идут от неё, не оборачиваясь, и звук их шагов гулкий, и ни один не замедляется.

Эмилия моргает.

Койка семь. Флакон. Восемь секунд между каплями.

Она делает вдох — осторожный, коротким глотком, будто проверяя, не подвернётся ли снова тот запах. Хлоргексидин. Только хлоргексидин. И под ним — тёплая пластиковая гарь от аппаратов, и что-то кисловатое от самого больного, неизбежное, кожа, которая давно не потела нормально.

Монитор. Она поворачивается к нему всем корпусом, будто цифры могут удержать её здесь физически. Сатурация девяносто четыре. Пульс шестьдесят два, ровный, синусовый.

Давление сто десять на семьдесят. Всё в пределах, всё как записано в листе последний раз, час назад. Никакой опечатки.

Она берёт карту. Ручка привычно ложится в пальцы. Время. Показания — столбиком, аккуратными цифрами, она пишет их мельче, чем нужно, экономя строчку, хотя строчек тут в избытке. Восемь. Двадцать три. Четырнадцать. Цифры не пахнут ничем. Цифры — это хорошо. Они держат.

«Усталость», — говорит она себе. Смена началась в восемь вечера, сейчас — она смотрит на часы над дверью — почти два. Шесть часов на ногах. Обонятельные галлюцинации при переутомлении — вещь описанная, банальная, есть в любом руководстве по сенсорной физиологии. Кора, лишённая новизны, начинает достраивать. Мозг скучает и подсовывает архив.

Объяснение аккуратное, как назначение в карте. Она даже почти верит.

Только запах не уходит.

Он не сильный. Держится где-то на границе — стоит выдохнуть и не вдыхать, и его нет, но с новым вдохом он снова там, тонкий, влажный, известковый. Она обводит взглядом бокс. Стены выкрашены той же больничной краской, что и везде, гладкие, сухие. Никакой сырости. Батарея под окном чуть тёплая. За окном — двор, фонарь, и дождя нет. Октябрь, но сухо, она помнила ещё по дороге на смену: асфальт был серый и пыльный.

Значит, неоткуда.

Она наклоняется ближе к больному, почти против воли — проверить, не он ли. Но от него пахнет тем, чем пахнет умирающее медленно тело, и ничем больше. Не мелом. Не стеной.

Она выпрямляется. Проводит тыльной стороной запястья по лбу — жест бессмысленный, лоб сухой. Просто нужно что-то сделать рукой.

«Откуда», — думает она, и это не праздный вопрос, это раздражает, как заусенец, как цифра, которая не сходится в столбце и заставляет пересчитывать всё сначала. Ей не нравится, когда что-то есть, а причины нет. У всего есть причина. У боли — очаг. У симптома — субстрат. Запах не берётся из ничего; где-то должен быть источник, флакон, тряпка, разлитый раствор, что угодно.

Она проверяет лоток. Ампулы, шприцы в упаковке, вскрытый флакон физраствора. Пахнет ничем. Мусорное ведро под столиком — она приподнимает крышку носком, заглядывает. Ничего.

Аппарат шипит в конце цикла. Капли идут. Восемь секунд.

Эмилия кладёт карту на место, ровно, край к краю со столом. Дышит через рот. Так проще — язык не чувствует запахов, только вкусы, а вкуса извёстки нет.

Она возвращается к монитору, хотя проверять там нечего, всё в пределах. Смотрит на зелёную кривую, как она поднимается и падает, поднимается и падает, чужое сердце, работающее ровно в чужой груди. Стоит и смотрит, и не считает, потому что цифры сегодня почему-то не держат до конца.

Где-то за границей вдоха — мел и мокрая стена.

Она не знает, откуда.

* * *

Анализы будут через сорок минут. Кровь ушла в лабораторию — газы, лактат, полный биохимический, — и теперь остаётся только ждать. Она заносит время забора в лист наблюдения, ставит подпись, кладёт ручку так, чтобы она легла параллельно краю стола. Аппарат ИВЛ на четвёртой койке тянет свою механическую ноту — вдох, пауза, выдох, — и в этой ноте есть что-то от метронома, под который ничего не играют.

Эмилия садится на стул у поста. Спина прямая, руки на коленях. Делать нечего. Мониторы горят ровными кривыми, дежурная реаниматолог ушла в ординаторскую дописывать историю, санитарка гремит вёдрами в дальнем конце коридора. Тишина не полная — в реанимации полной тишины не бывает, — но достаточная, чтобы в неё что-то просочилось.

Она смотрит в стену. Стена выкрашена в тот больничный цвет, у которого нет названия — не зелёный, не серый, цвет казённого спокойствия. И, глядя на него, она позволяет себе — впервые за долгое время сознательно позволяет — вспомнить.

Сентябрь. Другой город, куда отца перевели по работе, и другая школа, в которую её привели в середине первой недели, когда все уже расселись, разбились на пары, договорились, кто с кем ходит на физкультуру. Она стоит у доски. Учительница что-то говорит классу — новенькая, прошу любить, — а Эмилия смотрит на ряды и ждёт того, что бывает с новенькими: любопытства или враждебности. Ни того, ни другого. На неё смотрят так, как смотрят на календарь, который сменили на стене. Отметили и забыли. Взгляды скользят по ней и отваливаются, не зацепившись.

Это оказывается хуже всего. К враждебности можно приладиться, её видно, у неё есть форма и границы. А равнодушие бесформенно. Оно не оставляет ни трещины, за которую можно взяться.

Учительница биологии — полная женщина в кофте цвета вишни, с указкой, которой она постукивает по ладони, — заглядывает в журнал.

— Ягиш, — читает она, ставя ударение на второй слог. — Присаживайся, Ягиш, вон там свободное место.

Ягиш. Не Ягиш. Всего один сдвинутый слог, но фамилия становится чужой, как будто её произнесли на другом языке. И никто не поправляет — откуда им знать. И сама Эмилия не поправляет тоже. Она открывает рот и не поправляет, потому что для этого нужно было бы заговорить, привлечь к себе те самые взгляды, которые уже отвалились, снова собрать их на себе, а на это у неё в тот момент нет ни грамма запаса. Проще стать Ягиш. Проще откликаться на неправильное, чем требовать правильного.

Она идёт к свободной парте у окна. Половица под ногой скрипит, и этот скрип кажется ей оглушительным, будто она наступила на что-то, чего касаться было нельзя. Никто не обращается.

Урок она не помнит. Помнит запах — мел, старый линолеум, чей-то бутерброд с колбасой, забытый в парте с прошлого года. Помнит спины впереди сидящих, ровный частокот чужих затылков.

А после звонка помнит вот что. Класс поднимается разом, с грохотом отодвигаемых стульев, и вытекает в дверь — группами, парами, кто с кем. Смех в коридоре, уже общий, уже без неё. Она собирает учебники медленнее, чем нужно. А потом идёт к доске, берёт мокрую тряпку и начинает стирать чужой почерк — схему кровообращения, круги, стрелки, — хотя дежурство сегодня не её, хотя никто её об этом не просил.

Она стирает тщательно, круговыми движениями, доводя доску до ровной черноты. Не потому что аккуратная. Просто пока она стоит у доски с тряпкой в руке, у неё есть причина не выходить в коридор одной, в хвосте, за теми, кто уже забыл, что она вошла. У неё есть занятие. У занятия есть смысл. Она поняла это в тот сентябрь и запомнила надолго: если найти себе дело, никто не увидит, что ты одна. Дело — это укрытие. Дело — это броня.

Тряпка холодит ладонь. Вода стекает по запястью в рукав. За окном чужой двор, чужие тополя, чужие люди идут по своим делам, зная, куда идут.

Монитор пищит.

Эмилия вздрагивает — резко, всем телом, — и город за окном рассыпается, и тополя рассыпаются, и остаётся выкрашенная в никакой цвет стена реанимации и сигнал тревоги на второй койке. Она уже на ногах прежде, чем успевает подумать. Сердце бьётся коротко и часто — не от тревоги за пациента, она понимает это на бегу, а от того, откуда её выдернули.

Койка два. Женщина, шестьдесят три года, после операции. Кривая на мониторе не изменилась — ровная, спокойная, — а тревожит датчик сатурации, соскользнувший с пальца на простыню. Ложная. Просто пластиковая прищепка сползла.

Эмилия берёт вялую тёплую руку, поправляет клипсу на указательном пальце, разглаживает провод. Цифра на экране возвращается — девяносто семь, девяносто восемь. Сигнал смолкает. Женщина не просыпается; её дыхание, ровное под седацией, не сбивается.

— Всё, — говорит Эмилия ей, спящей. — Всё на месте.

Она стоит ещё секунду, держа чужую руку в своей — ладонь тяжёлая, мягкая, чуть влажная у запястья. Потом кладёт её обратно на одеяло, аккуратно, ладонью вниз, и возвращается к посту. Садится. Спина прямая. До анализов ещё полчаса.

* * *

Пока медленно капает второй пакет физраствора, она уходит в октябрь.

Не сразу. Сначала — проверяет показатели на мониторе, поправляет угол катетера, пишет в листе наблюдений цифры. Всё это занимает руки и оставляет голову пустой ровно настолько, чтобы туда проскользнуло что-нибудь ненужное.

Октябрь. Тот. Почти восемь лет назад.

— --

Вика сидела на соседней парте — справа и чуть сзади, так что Эмилии нужно было только слегка повернуть голову, чтобы видеть её тетрадь. Или наоборот. Вика и повернула — в ноябре, нет, в октябре ещё, через три или четыре недели после переезда.

— Слушай, — сказала она голосом, в котором не было ни просьбы, ни особенного интереса, — задача восемнадцатая. По цепочкам.

Эмилия посмотрела. Задача была средней сложности, не больше.

Она написала ответ на листочке и положила его на край парты Вики, не говоря ничего.

Вика взяла, не сказав «спасибо».

Вот и всё. Ничего особенного. Эмилия вернулась к своим упражнениям и подумала, что это был просто момент, который ничего не значит. В новом классе всегда так — сначала ничего, потом постепенно.

Через неделю их было уже трое.

— --

Капельница тихо пищит. Пузырь воздуха в трубке — нет, не пузырь, просто излом. Она поправляет. Пациент спит: Алексей Митрофанович, шестьдесят два года, острый коронарный синдром, стабилизирован. Дышит ровно. Лицо расслабленное — человек без сознания о себе, просто тело, которое делает своё дело.

Она смотрит на него секунду, потом отходит к окну.

— --

Механику она поняла позже — недели через три, наверное. Или сама додумала сейчас, потому что в шестнадцать не формулировала это так чисто.

Если делаешь домашние задания — не трогают.

Не дружба. Даже не нейтралитет в полном смысле. Контракт: ты даёшь, мы не причиняем вреда. Стандартная логика. Её и поняли бы даже первоклассники, если объяснить.

Она объяснять не стала — ни тогда, ни сейчас. Просто приняла условия.

Полгода она выполняла обязательства. Аккуратно, без опозданий, без жалоб. Задачи по химии — Вике, конспекты по биологии — Антону (он сидел через ряд и никогда не смотрел на неё, только протягивал руку), пересчёт по физике — иногда сразу двоим. Она делала это так, как делают рутинную работу: методично, не задумываясь о цене.

Её не трогали.

Её и не замечали.

Два разных факта, которые она тогда складывала в один и считала достаточным.

— --

Был один день — она помнит его точнее других, хотя ничего особенного там не происходило. Большая перемена, все вышли, она осталась. Не потому что не хотела идти — просто уже знала, что выходить некуда. Куда именно идти — непонятно, к кому — тоже. Проще сидеть.

Она открыла тетрадь Вики — та оставила на парте — и начала переписывать задачи. Задача двадцать третья, структурные формулы. Задача двадцать четвёртая.

За окном шумел двор. Кто-то смеялся. Звонкий смех — наверное, девочки из параллельного, они всегда выходили шумной кучей и располагались у крыльца.

Она писала и думала: это нормально. У всех разные ситуации. Кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее. Она адаптируется. Просто нужно время.

Задача двадцать пятая.

За окном смех стал тише — ушли, наверное, или просто ветер сменился.

Она сидела одна в классе, решала задачи для Вики, и думала, что это нормально, что так и должно быть, что она сама выбрала остаться, что всё идёт как надо. Мысли были ровные, почти убедительные. Рука не дрожала. Формулы получались правильные.

Тогда, в октябре, она уже умела врать себе так, что не оставалось швов. Ни одного шва. Чисто.

Почти как сейчас.

Она отворачивается от окна.

— --

Алексей Митрофанович дышит. Монитор рисует зелёную кривую — синусовый ритм, шестьдесят восемь ударов в минуту, норма. За стеклянной перегородкой сестра на посту смотрит в телефон.

Эмилия идёт ко второму пациенту — Светлана Ивановна, пятьдесят восемь лет, двусторонняя пневмония, кислородная маска. Она подходит, проверяет частоту дыхания, смотрит на сатурацию: девяносто четыре процента, держится.

Движения чёткие. Лицо закрытое.

Она поправляет маску — сдвинулась немного вправо, сейчас сидит криво. Светлана Ивановна не просыпается. Только ресницы чуть дрогнули — едва заметно, как у человека, которому снится что-то беспокойное, но не страшное.

Эмилия делает запись. Цифры. Время. Подпись.

Всё в порядке.

* * *

Весна пахла тополиной пылью и типографской краской — учебники из городской библиотеки, которые Эмилия брала в феврале, уже начали осыпаться по сгибам.

Три месяца. По ночам, под настольной лампой с перегоревшим правым патроном, в конусе дрожащего желтоватого света. Мать стучала в дверь ровно в одиннадцать — «ты когда ляжешь» — и Эмилия ждала, пока шаги затихнут в коридоре, и открывала следующую главу. Клетки. Органеллы. Митоз и мейоз, цикл Кребса, на котором она споткнулась дважды и разобралась самостоятельно, потому что не знала, у кого спросить. Не потому что не было у кого — потому что спросить значило бы объяснить, зачем это нужно, а объяснять это она не хотела никому.

В реанимационном зале монитор на третьей кровати тикал ровно. Эмилия не смотрела на него. Она смотрела в середину собственной ладони — след от жгута, красный полукруг, уже почти сошедший, — и видела другое.

Зал районного дома культуры. Длинные столы, разграфлённые листы. Запах дешёвого паркетного лака и чужого волнения. Она сидела в третьем ряду справа, положила ручку вдоль листа, посмотрела на первый вопрос — и почувствовала что-то похожее на покой. Не облегчение. Именно покой: знаю. Всё, что здесь написано, я знаю.

Она не торопилась. Дала себе двадцать минут на каждый раздел. Перечитала три раза. Сдала в середине отведённого времени, не потому что спешила, а потому что больше нечего было добавить.

Результаты объявили через неделю, на уроке биологии. Нина Сергеевна вошла в класс с листком — обычным, не торжественным, — положила его на стол и сказала без интонации:

— Олимпиада по биологии, районный этап. Первое место — Ягиш.

Пауза.

Эмилия посчитала до шести. Потом разговоры возобновились с того же места, где прервались. Кто-то за спиной спросил у кого-то про контрольную по алгебре. Кто-то у окна переложил тетрадь. Нина Сергеевна уже открывала учебник.

Шесть секунд тишины — и будто ничего не произошло. Как пауза между ударами сердца: обязательная, но не имеющая значения.

Потом уже, через несколько лет, она научится называть такие моменты «диссоциацией» — но в тот день просто сидела прямо и смотрела в доску, и чувствовала, как что-то внутри аккуратно захлопывается.

Вика смотрела на неё.

Не так, как смотрят на победителя — с завистью или с натянутым уважением, которое можно было бы вынести. По-другому. Эмилия поймала этот взгляд боковым зрением, повернулась, встретила — и поняла прежде, чем успела сформулировать: это брезгливость. Не к ней лично. К ситуации, к тому, что произошло. К тому, что Эмилия нарушила что-то, не спросив разрешения.

Условия контракта, которые никто вслух не проговаривал, были просты. Ты помогаешь — тебя терпят. Ты нужна — тебя замечают. Но ты не должна быть лучше. Ты должна быть полезной, тихой, почти невидимой — инструментом, который умеет думать за тебя. Инструменты не берут первые места.

Она не знала об этом условии. Никто ей не сказал. Может быть, они и сами не знали — это не обсуждалось, это просто было, как устав, который не вывешивают на стенку, потому что и так понятно.

Домашние задания у неё перестали брать уже на следующей неделе.

Сначала Эмилия думала — случайность. Потом — что они разобрались сами. Потом — что, может быть, что-то изменилось в расписании, в группах, в чём угодно внешнем. Она умела придумывать объяснения, которые не требовали неудобных выводов. Но к концу апреля объяснений не осталось.

Её не тревлили. Это важно — она понимала разницу. Её не задевали, не смеялись, не устраивали ничего из того, о чём пишут в книгах про школьные годы. Её просто перестали замечать. Совсем. Намеренно и методично — с той спокойной последовательностью, с которой люди огибают столб на тротуаре. Не из ненависти. Из равнодушия, которое хуже ненависти тем, что против него нечем защититься.

Невидимость первая — та, что была раньше — была нейтральной. Её не замечали, потому что она ещё не дала повода. Эта была другой. Её не замечали теперь потому, что решили не замечать. Это было действие. Это было суждение.

Монитор на третьей кровати пискнул — ЧСС слегка ушла вверх — и Эмилия посмотрела, убедилась: артефакт, движение пациента, уже выровнялось. Она снова опустила взгляд.

Домой она шла одна — как всегда, но теперь иначе. В руках держала грамоту, сложенную вчетверо, потому что нести её развёрнутой казалось глупым. На ней было написано то, что должно было что-то значить. Первое место. Районный этап. Биология.

Она думала о Вике.

О том взгляде — не злом, просто брезгливом, — и о том, что он значил. И она подумала, отчётливо и впервые без оговорок: люди не любят тех, кто умнее. Не завидуют, не ненавидят — просто не любят. Это не эмоция, это рефлекс. Это защита стаи от того, кто выбивается из шага.

Мысль оседала медленно, как контрастное вещество в сосуд — сначала по краям, потом к центру. К тому времени, как она дошла до своего подъезда, она была уже внутри.

Это не было горько. Горечь предполагает, что ты ожидал другого. Она перестала ожидать другого — вот что случилось в тот день. Она убрала ожидание за ненужностью и поставила на его место знание. Чёткое, как диагноз. Удобное, как инструкция.

Люди не любят тех, кто умнее.

Значит — быть умнее, но не показывать. Значит — работать вдвое, побеждать, и при этом не существовать в их системе координат. Значит — стать такой, чтобы их мнение просто не имело значения.

Она не понимала тогда, что решила стать невидимой по собственному выбору. Что сама достроила стену, которую они только начали возводить.

Грамота пролежала в ящике стола до конца учебного года. Мать нашла её в августе, когда разбирала вещи перед переездом.

— Что это?

— Районная олимпиада, — сказала Эмилия. — Весной была.

— Первое место? — Мать подняла взгляд. — И ты не сказала?

Эмилия пожала плечами. Она уже не помнила, почему не сказала. Или помнила — и не хотела объяснять.

Монитор на третьей кровати снова ровно тикал в темноте. Эмилия сидела прямо, держала руки на коленях, смотрела в середину пространства перед собой.

Диагноз, который она поставила себе в апреле, оказался удобным. Он объяснял всё: почему не надо ждать, почему не надо просить, почему лучше — одной. Она несла его как грамоту, сложенную вчетверо. Не разворачивала. Не перечитывала.

Просто несла.

* * *

Около пяти утра реанимация начинает дышать иначе.

Не тише — просто ритм меняется. Мониторы пищат с той же частотой, капельницы отсчитывают те же капли, но в воздухе появляется что-то, что Эмилия для себя назвала бы предраассветным сдвигом, если бы вообще называла такие вещи. Ночные смены научили её различать это состояние: когда организмы вокруг перестают бороться с темнотой и начинают просто ждать свет.

Она сидит за стойкой, заполняет карту. Почерк ровный — этому тоже учишься, когда пишешь после восьми часов на ногах. Рука знает, что делать, пока голова ещё где-то в другом месте.

В другом месте — это значит в школе. В том запахе мела и влажных курток, который она так и не вытряхнула из памяти за восемь лет.

Она захлопывает этот ящик.

Слышится движение — не тревожный звук, просто шорох, будто кто-то пытается положить руку. Эмилия поднимается, берёт фонарик, идёт проверить — скорее по привычке, чем из беспокойства. Монитор молчит. Значит, ничего критического.

Пожилой мужчина — она помнит, что меняла ему капельницу около полуночи. Тогда он спал, или она думала, что спал. Сейчас он не спит.

Глаза открыты. Смотрят в потолок — а потом, когда она входит, медленно перемещаются на неё.

Во рту трубка. Говорить он не может, и видно, что он это понимает — губы чуть сжимаются, как будто он уже начал слово и вспомнил, что слов нет. Это особенное выражение,

Эмилия научилась его узнавать. Не боль, не паника — что-то более тихое. Вопрос без вопро-сительного знака.

Она наклоняется ближе, потому что так полагается — чтобы пациент не напрягал шею. Стандартный протокол.

Но он смотрит на неё не так, как смотрят на медицинского работника.

Так смотрят на человека.

У него серые глаза, слегка выцветшие, как бывает у очень пожилых людей, — будто краска ушла на что-то более важное. В них нет конкретного запроса. Нет просьбы о воде, о положении, об обезболивающем. Он просто смотрит на неё и, кажется, проверяет: есть ли здесь кто-то. Есть ли вообще кто-то в этой комнате, кроме машин.

Эмилия кладёт руку на его руку.

Она потом не сможет объяснить, почему. По протоколу этого не требуется. По прото-колу она должна проверить монитор, убедиться, что пациент в норме, и вернуться на пост. Его показатели в норме — она это видит боковым зрением, не глядя. Четыре секунды.

Рука у него холодная и лёгкая. Кожа сухая, почти бумажная — так бывает в определённом возрасте, когда тело начинает экономить влагу на что-то другое.

Она держит. Не считает секунды, просто держит.

Он закрывает глаза.

Не сразу — медленно, как будто убеждается, что можно. Грудная клетка поднимается и опускается ровно. Монитор отмечает снижение пульса на несколько ударов: с девяноста двух до восьмидесяти шести. Это хорошо. Это значит, что напряжение ушло.

Эмилия убирает руку. Выпрямляется.

Смотрит на монитор, потому что монитор — это то, что она умеет читать. Сатурация девяноста шесть. Давление в пределах. Температура тридцать шесть и семь — лучше, чем вчера вечером. Всё в норме, всё как должно быть.

Внутри что-то сдвинулось — она чувствует это так же точно, как чувствуют сдвиг в атмо-сферном давлении перед дождём. Не больно. Не страшно. Просто стало по-другому, и она стоит и смотрит на показатели, как будто они могут объяснить, что именно.

Они не объясняют. Это не их работа.

Она выходит из палаты тихо.

— --

Смена заканчивается в половину восьмого. Эмилия переодевается в ординаторской — там никого, дневная смена ещё не пришла. Она снимает халат, складывает его так, как научи-лась складывать всё — методично, без лишних движений. Достает куртку, шарф, ключи. Про-веряет телефон: два сообщения от матери, отправленные в разное время ночи. Первое — «дое-хала?», второе — «ладно, раз не отвечаешь, значит, работаешь»,

Эмилия убирает телефон.

На улице холодно — не жестоко, но ощутимо, тот октябрьский холод, который напоми-нает, что лето не просто кончилось, а кончилось окончательно и жаловаться не на кого. Небо серое, ровное, без облаков и без просветов — как лист бумаги, который ещё не решили, что на нём написать. Где-то за домами начинается рассвет, но здесь, между корпусами больницы, его почти не видно. Воздух пахнет мокрым бетоном и чем-то острым, железным — вентиля-ционные решётки на уровне земли, всегда так после ночи.

Эмилия идёт к остановке. Под подошвами — мокрый асфальт, листья, прибитые к земле ночным дождём. Фонари ещё горят, но уже вполсилы, как будто и они понимают, что скоро можно будет выключиться.

Она думает о грамоте.

Не потому что хочет думать о грамоте — просто так получается. Олимпиада по биоло-гии, девятый класс, она приходит домой с дипломом первой степени и бумажной грамотой

с золотистой печатью. Мать берёт её двумя руками, как берут что-то хрупкое, разглаживает уголок, который успел загнуться, и вешает на стену — на гвоздик, который там уже был, как будто ждал именно этого.

Эмилия тогда стоит рядом и смотрит, как мать выравнивает рамку.

— Вот, — говорит мать, — теперь сразу видно.

Что видно — Эмилия не спрашивает. Она и сейчас не знает. Что она старается? Что она может? Что они правильно сделали, когда записали её в этот кружок, а не в тот?

Грамота висит до сих пор — она была там в прошлый раз, когда Эмилия ездила к родителям. Рядом с ней появились ещё две или три, потом фотография с вручения диплома. Мать выровняла их все по одной горизонтали, как картинную галерею.

Эмилия никогда не понимала зачем.

Нет — неточно. Она понимала умом: мать гордится, мать хочет, чтобы это было видно. Это нормально, это хорошо, это любовь в том формате, который мать умеет.

Но она никогда не понимала этого иначе, чем умом.

Остановка пустая. Эмилия стоит и смотрит на расписание, хотя маршрут знает наизусть. Просто нужно на что-то смотреть.

Пожилой мужчина закрыл глаза, когда она держала его руку. Не потому что ему стало лучше — ему было примерно так же, как и до. Просто потому что кто-то был рядом и не уходил.

Она не знает его имени. Отчества не знает тоже — в карте написано, но она не запомнила. Это неправильно, она знает, что неправильно, — но она стоит на пустой остановке в половину восьмого утра, и внутри продолжает что-то двигаться, медленно, как сдвигается осенняя почва под первым морозом.

Мать повесила грамоту на стену, потому что хотела, чтобы было видно. Потому что это её способ сказать: смотри, вот ты, вот что ты сделала, вот почему я рада.

Эмилия смотрела на грамоту и не понимала, что там написано про неё.

Подходит автобус. Двери открываются с тем звуком, который она слышит каждое утро после смены. Она заходит, садится у окна, смотрит, как больница остаётся позади — сначала главный корпус, потом хозяйственный, потом забор с облупившейся краской.

Где-то там, пожилой мужчина с серыми глазами спит или не спит. Монитор отсчитывает его пульс. Дневная смена скоро придёт и проверит показатели, поменяет капельницу, запишет в карту.

Он не будет помнить её лица.

Она, наверное, не будет помнить его имени.

Но что-то было — она не может назвать это словом, и не пытается. Просто сидит и смотрит в окно на серое утреннее небо, которое наконец начинает светлеть — не ярко, без торжества, просто чуть меньше тёмное, чем было минуту назад.

Этого достаточно.

Глава 4. Научный руководитель

Кафедра терапии располагалась в старом корпусе — из тех, где ремонт делали раза три за пятьдесят лет, каждый раз поверх предыдущего, и теперь линолеум на полу шёл волнами, а стены хранили несколько слоёв бежевого, один поверх другого, с нарастающим отчаянием.

Эмилия шла по коридору и считала двери.

Запах здесь был особый — не больничный, не тот хлоргексидиново-ацетоновый, к которому она привыкла на ночных сменах, а именно кафедральный: старая бумага, пыль, которую не столько убирали, сколько перемещали с места на место, и слабый дух кофе, просочившийся из-за какой-то двери и застрявший в воздухе навсегда. Запах места, где знание хранится дольше, чем используется.

Сергей Игоревич Калинин. Доцент. Кандидат медицинских наук. Специализация — внутренние болезни, кардиология. Восемнадцать публикаций в РИНЦ, три в зарубежных журналах.

Она выучила это ещё неделю назад. Первую фразу репетировала со вчерашнего вечера: не слишком официально — это звучит испуганно, не слишком свободно — это звучит нагло. Что-то нейтральное, уверенное. *Здравствуйте, Сергей Игоревич. Я Ягиш, вы будете моим научным руководителем.*

Просто. Без придаточных предложений.

Секретарь сидела в предбаннике — женщина лет пятидесяти, с видом человека, который давно перестал делить посетителей на важных и неважных. Ногти у неё были коротко стрижены и без лака — как у человека, который не ждёт, что кто-то будет смотреть на её руки.

— Вы к Сергею Игоревичу?

— Да. Ягиш, шестой курс, по поводу научной работы.

— Он занят, — сказала секретарь без извинений. — Подождите.

Эмилия кивнула и не села.

Стул у стены был один — продавленный, с деревянными подлокотниками, из тех, что стоят в присутственных местах, чтобы ожидание давалось тяжелее. Она предпочла стоять. Ноги немного болели после двух пар и утреннего обхода, но сесть — значит расслабиться, расслабиться — значит начать нервничать, а нервничать ей было некогда.

Вместо этого она подошла к стенду.

Стенд занимал почти всю стену напротив двери — большой, с несколькими разделами: фотографии кафедры, расписание, список преподавателей с учёными степенями, и отдельный раздел с публикациями. Листы пожелтели неравномерно: свежие статьи в центре, по краям — что-то из девяностых, напечатанное ещё на машинке, с неровными строчками. Один лист завернулся уголком и держался на честном слове.

Калинин был представлен основательно: три статьи на видном месте, методическое пособие в соавторстве, фотография с какой-то конференции — он там улыбался тому, кто стоял правее, и в профиль был моложе, чем на официальном снимке кафедры.

Ниже, под блоком о текущих исследованиях, располагался список дипломников.

Она нашла его не сразу — лист был новый, без желтизны, значит повесили недавно. Колонка имён, ровная, двенадцать строчек. Одиннадцатая.

Ягиш Э.Р.

Мелко. Times New Roman, двенадцатый кегль, скорее всего — просто конец списка, алфавитный порядок, буква «Я». Но всё равно: мелко. В конце. Как примечание.

Она вернулась взглядом в начало колонки.

Первой стояла Антонова. Потом Борисенко. Потом ещё четыре человека с фамилиями на «В» и «Г». Она попыталась вспомнить их по аудитории и почти не вспомнила: размытые лица, чьи-то голоса на семинарах, кто-то постоянно сидел у окна.

Пока ещё в конце, — подумала она.

Потом поправила себя: *пока*.

Разница была важная. Конец — это положение. Пока — это направление.

За дверью кабинета что-то звякнуло, голоса стали отчётливее и снова затихли. Секретарь напечатала что-то одним пальцем — медленно, с чувством. Эмилия вернулась к стенду, но уже не читала, просто смотрела на бумагу, чтобы не смотреть на часы.

Она думала о первой фразе. Потом о второй. Потом поняла, что планирует весь разговор целиком, до конца — и что это бессмысленно, потому что разговоры так не работают, они не идут по плану, они идут туда, куда их тянет собеседник, а об этом конкретном собеседнике она не знала ничего, кроме восемнадцати публикаций в РИНЦ и фотографии с конференции.

Стоп.

Она знает достаточно. Она подготовилась. Она умеет разговаривать с людьми, которые сидят за кафедральными столами. Это не сложнее, чем Левченко на обходе, а Левченко она прошла.

Дверь открылась.

Студент, который вышел, был с третьего курса — она не знала его имени, только видела несколько раз в библиотеке. Лицо у него было ровное — не раздавленное, не злое. Просто прибранное, как стол после того, как с него убрали всё лишнее.

Он прошёл мимо неё, не подняв головы.

Эмилия смотрела на закрытую дверь секунду, может быть две.

Потом подумала о своей первой фразе. Она была правильной. Нейтральной и уверенной. Без придаточных предложений.

Она подождёт, пока секретарь скажет, что можно войти.

* * *

Кабинет Калинина находился в торце коридора, за поворотом, куда почти не добирался дневной свет. Эмилия заметила это ещё подходя: лампа за матовым стеклом двери горела — он внутри. Она выровняла дыхание, постучала.

— Войдите.

Голос — не приглашение, а констатация. Будто дверь уже открыта.

Калинин сидел не за столом, а сбоку от него: развернулся вполоборота к окну, на коленях — раскрытая папка. Когда Эмилия вошла, он снял очки, положил их на стол — медленно, без суеты — и указал на кресло напротив. Не слова, жест. Кресло было с подлокотниками, немного продавленное посередине; она села прямо.

— Ягиш? — уточнил он, хотя она не сомневалась, что знает.

— Да.

— Хорошо. — Он откинулся чуть назад. — Скажите, почему эта кафедра? Не тема, не специализация. Кафедра.

Вопрос застал её. Она готовилась говорить о патологии свёртываемости, о лабораторных маркерах, о том, что данных по регионам катастрофически мало. Всё это она знала наизусть, как маршрут от автобусной остановки до дома, — отработанное, надёжное. Вопрос про кафедру в маршрут не входил.

Она ответила, почти не подумав:

— Здесь работают с данными, а не с концепциями.

Калинин не кивнул. Не улыбнулся. Просто смотрел — и в этом взгляде было что-то терпеливое, будто он умел ждать продолжения, не торопя его.

— Я устала от вещей, которые нельзя измерить, — добавила она. И только потом поняла, что сказала правду.

Это её удивило. Не сама правда — то, что она вышла без сопротивления, как будто в этом кабинете, в этом продавленном кресле, привычный внутренний контроль на секунду выключился. Она не стала анализировать почему, занесла в графу «усталость с утра» и поехала дальше.

Калинин взял блокнот — не папку с её документами, а свой, узкий, в кожаном переплёте, с потрёпанным уголком. Она положила перед ним распечатку с наброском: структура исследования, предварительная гипотеза, источники.

— Расскажите, — произнёс он. — Не читайте. Расскажите.

Она рассказывала. Он не перебивал. Это само по себе было странно — она привыкла к тому, что её перебивают: уточняют, поправляют, перенаправляют на чужую мысль раньше, чем она договорила свою. Здесь было тихо. Только её голос и — она заметила краем зрения — его ручка, которая двигалась.

Он записывал.

Она увидела это в тот момент, когда формулировала ключевой тезис: «отсроченная активация тромбоцитарного звена как предиктор осложнений в постоперационном периоде». Слова были её, она написала их еще в феврале прошлого года, на кухне, в два часа ночи, когда не спалось. Калинин вёл ручкой по странице, не поднимая головы. Она решила, что он запоминает формулировки, чтобы точнее задавать вопросы, — признак внимания, — и продолжила.

— Стоп, — произнёс он, когда она дошла до методологии. — Здесь у вас выборка — тридцать семь человек за два года. На чём основан расчёт объёма?

Именно этот вопрос. Она ждала его меньше всего и больше всего одновременно — слабое место, которое она видела сама, про себя, в те же ночи на кухне. Тридцать семь — мало. Она знала, что мало. Она выстроила защиту: региональная специфика, ограниченная клиническая база, возможность расширения на втором году. Всё это она и изложила — чётко, без спешки, с цифрами.

Калинин слушал. Кивал — не в такт одобрению, а в такт слушанию: это разные кивки, и она умела их различать.

— Интересно, — сказал он, когда она закончила.

Без интонации похвалы. Без интонации скепсиса. «Интересно» — как пометка на полях, не оценка. Она поймала себя на ожидании похвалы — и тут же убрала это ожидание, как убирают посуду со стола после еды: быстро, не глядя.

Пауза.

Калинин отвернулся к окну. Там ничего не было — двор, бетонная стена соседнего корпуса, голая ветка рябины. Он смотрел туда несколько секунд с выражением, которое Эмилия не сумела прочитать: не рассеянность, не сосредоточенность, что-то среднее — будто считал что-то про себя, что не имело отношения ни к ней, ни к её тридцати семи пациентам.

Она не знала, что за секунду до этого он вспомнил другую выборку — тоже маленькую, тоже в кожаном переплёте чужого блокнота, тоже сформулированную чужими ночами. Не знала и не должна была знать. Он вернулся к ней прежде, чем воспоминание успело приобрести форму.

— Продолжайте работать в этом направлении, — произнёс он. — Черновик через две недели. Первую главу и методологию — полностью.

Эмилия встала. Взяла распечатку — он её не попросил оставить, она не предложила. Пожала руку: сухо, коротко, правильно. Вышла.

В коридоре она остановилась. Не потому что нужно было остановиться — ноги просто притормозили сами, на долю секунды, как будто тело проверяло, что земля под ним есть.

Она не понимала, что именно произошло. Встреча прошла как надо: она говорила, он слушал, получила задание, ушла. Всё по плану, всё в графике. И всё-таки внутри было что-то безымянное — не радость, потому что радость она знала: это когда пятёрка в зачётке, когда задача решена, когда рецензия без правок. Это было другое. Тише. Ближе к тому ощущению, когда долго идёшь против ветра, а потом ветер на секунду стихает, и ты не можешь понять — потеплело или просто стало не так холодно.

Кто-то прошёл мимо. Она выпрямилась — и только тогда заметила, что всё это время стояла, чуть ссутулившись. Так она не стояла никогда. Она поправила лямку сумки и пошла к лестнице.

* * *

Аудитория пустеет быстро — Калинин уходит, следом студенты, последним выскальзывает кто-то из соседней группы, кто заглянул не туда. Эмилия не встаёт.

Она сидит за третьей партой от окна и смотрит на доску, которую никто не стёр. Чужие формулы, чужой почерк. Чьи-то задачи, решённые в прошлую пятницу.

Тетрадь открывается сама по себе — мышечная память. Ручка в руке. Она начинает писать, и только через несколько секунд понимает, что пишет не план работы.

«Зачем вы пошли именно в эту тему?»

«Что, по-вашему, здесь ещё не сказано?»

«Интересно. Это ваша формулировка или вы опираетесь на источник?»

Она переносит его вопросы в тетрадь — точно, слово в слово, так, как помнит. Почерк мелкий и очень ровный. Не запись, а протокол.

Зачем она это делает?

Эмилия смотрит на страницу. Три вопроса. Пространство между ними заполнено её собственными ответами — теми, которые она успела дать тогда, и теми, которые придумала уже потом, пока он говорил что-то следующее. Иногда это были лучшие ответы.

Она хочет понять, что именно он увидел.

Она перечитывает первый вопрос. *Зачем вы пошли именно в эту тему?* Она ответила что-то про пробел в доказательной базе, про недостаточную изученность конкретного звена. Технически — верно. Но он кивнул с таким видом, будто услышал что-то помимо этого. Будто вопрос был про пробел в доказательной базе, а ответ — нет.

Она не знает, что именно он услышал.

Это раздражает её сильнее, чем она ожидала.

Второй вопрос. *Что здесь ещё не сказано?* Она начала перечислять — методологические лакуны, отсутствие лонгитюдных данных, слабая стандартизация выборок. Он слушал и при этом смотрел не на её слова, а как будто чуть выше. Потом произнёс: «Значит, поле свободное». Интонация была нейтральной. Она хотела понять — оценка или наблюдение?

Пока она пишет, пальцы чуть холодеют — в аудитории не топят, октябрь только начался, система отопления в этом корпусе включается по расписанию, а не по погоде. Где-то над головой гудит люминесцентная лампа — одна из трёх, крайняя справа.

Эмилия ловит себя на том, что ищет в собственных воспоминаниях не ошибки. Ищет подтверждение.

Момент фиксируется с неприятной чёткостью — точно рентгеновский снимок, где видно то, о чём не спрашивали. Она перечитывает список его вопросов и понимает, что расставила их иначе, чем они звучали в реальности. Переставила местами. Тот, где он похвалил её формулировку — выдвинула на первое место.

Эту работу она проделала неосознанно, за несколько минут, пока аудитория пустела.

Раздражение возвращается — другого качества. Не злость на него. На себя, за предсказуемость собственной механики. Она занималась сортировкой по признаку «было ли мне здесь хорошо», и теперь список выглядит убедительно, хотя является редакцией, а не записью.

Профессиональная беседа с человеком, который знает предмет. Почему это требует расшифровки?

Она вспоминает, как он брал паузу — вёл ручкой в своём ежедневнике. Тёмно-коричневая обложка, ручка с колпачком. Тогда она не думала об этом. Думает сейчас. Что он записывал? Её формулировки? Направление, в котором она собирается работать? Ссылки на источники?

Правильные варианты — все три. Руководитель записывает то, что пригодится в работе с дипломником.

Эмилия смотрит на эту мысль несколько секунд — как на препарат под стеклом.

Внутри что-то слегка сдвигается — не тревога, ещё нет, но похоже на то ощущение, когда в анамнезе замечаешь деталь, которой раньше не придавал значения. Не симптом. Деталь. Которую, впрочем, следовало бы занести в карту.

Она не заносит. Закрывает тетрадь.

Две недели — достаточно, чтобы сделать это хорошо. Твёрдо, без лишнего — как она закрывает все незавершённые вопросы.

Но за закрытой обложкой лежит страница с его вопросами в её редакции, с лучшими ответами, которые она придумала потом, и с первым в списке — тем, где он сказал «интересно».

Она встаёт, поправляет лямку сумки. Лампа над головой гудит.

Эмилия выходит из аудитории, не оглядываясь.

* * *

За окном — обычный октябрьский шум: чьи-то шаги по асфальту, далёкий автобус, голос с балкона этажом выше. Эмилия давно его не слышит. Он стал частью тишины, как гул холодильника или редкие щелчки батареек.

Половина двенадцатого. Чай в стакане остыл ещё час назад — она брала его дважды, не отпивала, ставила обратно. Ноутбук светил в полутёмной комнате, и это было всё, что нужно.

Она писала.

Не черновик в методологическом смысле — не «введение, цели, задачи, актуальность темы». Она писала так, как думала, и думала сейчас точнее, чем обычно: без Гоши за соседним столом, без Левченко над плечом, без необходимости держать лицо. Только курсор, только абзацы, только то, что она знала.

Тезис вышел на третьей попытке. Первые два варианта были правильными — аккуратными, нейтральными, такими, какие принимают на кафедральных конференциях без вопросов и без интереса. Третий был другим.

Хроническая болевая сенситизация при постинсультных состояниях формируется не столько на уровне повреждения нейронной ткани, сколько на уровне ожидания боли — то есть является в значительной мере когнитивным конструктом, поддерживаемым средой. В условиях стационара, где болевой опыт пациента систематически обесценивается клинически нейтральным языком, процесс сенситизации может ускоряться.

Она перечитала. Пальцы на тачпаде не двигались.

«Обесценивается клинически нейтральным языком» — это не из учебника. Это из ночной смены. Это Николай Петрович, палата шесть, который спросил «долго ли ещё», и она ответила про динамику показателей, потому что именно это у неё было в запасе. Потому что правда — «не знаю, но точно дольше, чем вам хочется» — не входила в набор допустимых ответов.

Она нажала Enter, открыла новый абзац и написала то, чего не просила ни одна методичка.

*Наблюдение из клинической практики: пациент М., 67 лет, на третьи сутки после ишемического инсульта с афазией, задал вопрос о прогнозе в момент, когда дежурный персонал менялся между манипуляциями. Вопрос не был внесён в карту. Ответ дан не был. Через четыре

часа пациент самостоятельно отключил капельницу — что расценено как неадекватное поведение на фоне неврологической симптоматики. Возможно, однако, что это был единственный доступный ему способ обозначить присутствие.*

Курсор мигал. Она смотрела на абзац и понимала, что его нельзя оставить — Калинин не просил личных наблюдений, методика предполагала статистику, и вообще это было слишком. Слишком видно. Слишком мало похоже на то, как обычно пишут студентки шестого курса в начале октября.

Она оставила.

Не потому что решила. Просто не удалила — и это было то же самое.

— --

Аудитория была похожа на ту, где Калинин сам когда-то сидел: такие же ряды, такой же скрип стула, такая же тетрадь в клетку, исписанная до последней страницы. Он объяснял соседу какой-то механизм — объяснял долго, с подробностями, так, как умел только он. Потом пришёл кто-то старше, остановился за его спиной, прочитал. «Это интересно», — сказал голос. «Оставьте мне».

— --

Эмилия закрыла окно с источниками, переключилась на основной документ. Перечитала с начала — медленно, как читают чужое. Тезис держался. Абзац с Николаем Петровичем держался тоже, вопреки логике.

Она нажала «Сохранить как» и набрала имя файла.

«черновик_КС»

Инициалы легли сами, без паузы — Калинин Сергей, так она записала его в телефоне после встречи, чтобы не перепутать с другими преподавателями. Разумная организация. Рабочий порядок.

Она закрыла ноутбук.

Стакан с холодным чаем стоял там, где стоял. За окном голос с балкона затих — и только сейчас стало слышно, что он вообще был. Эмилия убрала стакан в раковину, не ополоснув, прошла к кровати и легла поверх одеяла в одежде.

Потолок был такой же, как вчера.

Через несколько минут она подумала, ни о чём конкретном не думая: *интересно*.

Не вопрос. Просто слово, всплывшее само.

* * *

Черновик она распечатала на факультетском принтере в понедельник утром — двадцать три страницы без полей для пометок. Это было намеренно: чистые поля означали, что текст говорит сам за себя, без её тревоги на полях, без карандашных оговорок. Две недели она не открывала этот файл, пока окончательно не перестала видеть его своим.

Калинин принял её в четверть второго. Кафедра после лекций пустела быстро — коридор гулкий, тусклый, с запахом пыльных жалюзи и старых методичек. Эмилия постучала, вошла, положила распечатку на край стола.

— Черновик первой части. Как вы просили.

Он не взял сразу. Дочитал что-то на экране, закрыл вкладку — без спешки, как человек, у которого времени всегда достаточно, потому что он сам решает, сколько его тратить. Потом взял стопку страниц, не глядя выровнял по столу и положил поверх папки.

— Оставьте, я посмотрю.

Она ждала другого. Она не знала точно, чего именно — может, что он хотя бы откроет первую страницу, пробежит взглядом по заголовкам. Это заняло бы двадцать секунд. Но он уже тянулся к кружке с чаем, и двадцать секунд явно стоили больше, чем казалось снаружи.

— Хорошо.

— Как клиническая практика? — спросил он — не с тем интересом, с которым спрашивал в первый раз. Тогда он наклонялся чуть вперёд, слушал с паузами, задавал уточняющие вопросы. Сейчас он держал кружку обеими руками и смотрел куда-то левее её плеча — на стол, на бумаги, на то, что там ещё не доделано.

— Нормально. Левченко ведёт обход жёстко, но это полезно. Привыкаю.

— Хорошо, хорошо. — Он кивнул дважды, как кивают, когда разговор уже закончился, но форма ещё не выполнена. — Если будут вопросы по источникам — пишите на почту. Я обычно отвечаю до выходных.

Эмилия сказала, что поняла. Голос вышел ровным — это было нетрудно, потому что она умела держать лицо давно и хорошо, ещё до всякой клиники. Труднее было не обернуться сразу, когда она уже разворачивалась к двери.

Что-то изменилось. Она не могла назвать это точно, не могла вставить в нужную графу, как вставляла симптомы в дифференциальный ряд. Он занят — это очевидно. Середина октября, кафедра, нагрузка. Она сама отняла у него двадцать минут в прошлый раз, и тогда он говорил о методологии с таким видом, будто это его идея. Теперь у него кружка с чаем и папка и экран с незакрытыми вкладками.

Это нормально. Он не обязан читать при ней.

Дверь была приоткрыта — она притянула её за ручку, не до конца, потому что кафедра не терпит хлопков, это она уже поняла. В этой щели, в эту секунду, пока ручка ещё в руке, она оглянулась.

Калинин открыл черновик.

Он держал страницы так, как держат документы, которые нужно обработать: локоть на столе, большой палец отогнут, первая страница уже перевёрнута. Ручка лежала рядом — шариковая, синяя, с обкусанным колпачком. Он не читал медленно, не задерживался. Шёл по тексту быстро, деловито, останавливался в нескольких местах и делал пометки — коротко, без раздумий, как будто уже знал, что там написано, и просто расставлял метки для дальнейшего использования.

Это был её текст. Её формулировки, её структура. Она смотрела на то, как он делает пометки в её тексте, как в своём, — и не нашла для этого правильного слова, потому что ничего ещё не произошло. Ничего. Просто научный руководитель читает черновик студента. Это его работа.

Эмилия отпустила ручку. Дверь закрылась без звука.

В коридоре пахло пыльными жалюзи и старыми методичками. Где-то в конце коридора кто-то переставлял стулья — методично, через равные промежутки, как будто расставлял всё по местам.

Она дошла до лестницы, остановилась, достала телефон. Экран показал: 14:00. До вечерней смены ещё четыре часа. Она могла зайти в библиотеку, добрать источники по третьей главе. Могла выпить кофе в автомате на первом этаже — там давали приличный, если не брать капучино. Могла позвонить матери, которая напишет сама, если не позвонить.

Он занят, — повторила она себе, и это было правдой.

Правдой было и то, что она оглянулась. И то, что увидела. И то, что теперь не знает, куда это поставить, — это ощущение, похожее на сквозняк в комнате, где все окна закрыты.

Она убрала телефон в карман и пошла вниз по лестнице. На третьей ступеньке подумала, что двадцать три страницы — это много. Что он прочитает внимательно. Что пометки — это хорошо, это значит, что текст читают, а не просто принимают к сведению.

На первом этаже она прошла мимо автомата с кофе, не остановившись.

Глава 5. Алина и список

Коридор после пары выдыхает толпу: куртки, рюкзаки, запах дешёвых духов и прокисшего кофе в одноразовых стаканчиках. Эмилия движется к выходу плотным шагом — не быстрым, но таким, при котором никто не останавливает.

Доска объявлений у лестницы оклеена слоями: расписаниями, чей-то потерянный конспект по биохимии, объявление о сдаче комнаты с телефоном на язычках, давно оборванных наполовину. Поверх всего — новый лист, ровный, распечатанный на принтере с хорошим картриджем. Рядом с листом стоит Алина.

Эмилия замечает её за шаг до того, как та поднимает голову.

Алина — староста курса. Это слово в применении к ней звучало как «архитектор», а не как «делопроизводитель»: она выстраивала информационные потоки с такой же органичностью, с какой другие люди дышат. Список держала двумя пальцами — точно, без смятия. Осанка прямая. Улыбка появилась на долю секунды раньше, чем должна была.

— Эмилия, хорошо, что ты здесь.

Интонация «я тебя нашла» вместо «я тебя ждала». Маленькое, почти незаметное различие.

— Алина. — Эмилия остановилась. Рюкзак съехал чуть вниз по плечу, она поправила его, не торопясь.

— Смотри. — Алина развернула лист, хотя уже и так держала его лицевой стороной. — Документы в ординатуру. Кафедры закрывают свои списки по-разному, но деканат просит всё до двадцать пятого октября. Это общая выписка.

Двадцать пятого. Эмилия смотрела на лист. Колонки: специальность, кафедра, требуемые документы, контактное лицо. Мелкий шрифт, аккуратный отступ. Алина явно делала это не впервые.

— Я слышала, — сказала Эмилия. Не совсем правда и не совсем ложь — она слышала «ординатура» и «сроки» в разных разговорах последние недели. Детали собиралась уточнить позже, когда дойдут руки.

— Там ещё нюансы по рекомендательным письмам. — Алина скользнула взглядом чуть в сторону, не то на доску за спиной Эмилии, не то на кого-то в толпе. — Некоторые кафедры просят внутреннюю рекомендацию отдельно от научного руководителя. Это не везде написано напрямую. Лучше уточнить заранее.

— Уточню.

Эмилия слушала её голос как слушают звук дождя в другой комнате: различаешь, что идёт, но ни капли по отдельности не выделяешь. Алина говорила ровно и по делу, и это само по себе было нейтральным фактом — как температура воздуха или длина коридора. Двадцать пятого. Рекомендательные письма. Внутренняя рекомендация. Слова легли куда-то в дальний угол, помеченные как «обработать потом».

Потом — это после ночной смены. После разбора субботнего дежурства. После того, как она перечитает две статьи по сердечной недостаточности, которые открыла ещё в понедельник и закрыла, не дочитав.

— Ты видела, что по терапии конкурс выше? — спросила Алина. Она уже вешала список на доску, прижимая кнопкой с зелёной шляпкой. Вопрос был брошен в воздух — без интонации ожидания ответа.

— Видела.

Конкурс по терапии её не пугал — странно пугаться цифры, которую ты превосходишь. Эмилия знала свой средний балл. Знала список конференций, в которых участвовала. Знала,

что её научная работа по нарушениям ритма при гипокалиемии была единственной на курсе, которую Левченко не прервал на первой же минуте доклада.

Алина выровняла лист по горизонту — точно, почти механически — и повернулась.

— Ладно. Если будут вопросы — ты знаешь.

Улыбка снова, короткая и корректная. Она не была неискренней — она была функциональной. Алина улыбалась по той же причине, по которой держала прямую осанку: потому что так работает система, в которую она себя встроила.

Эмилия кивнула.

Алина ушла. Её поглотила толпа так же плавно, как входят в воду.

Эмилия стояла у доски ещё секунду. Где-то сзади хлопнула дверь аудитории, в коридор выплеснулась новая волна голосов.

Список висел ровно. Зелёная кнопка блестела. Мелкий шрифт с кафедрами и контактными лицами — восемь строк, может, девять. Снизу приписка, наверное, о порядке подачи. Она не читала её.

Потом, — сказала она себе привычно и точно, как ставят пометку на полях.

Она была уверена, что успеет.

Рюкзак снова съехал с плеча — она поправила его и пошла к выходу, не оглянувшись.

* * *

Сестринская пахнет так же, как во всех больницах мира, которые Эмилия успела обойти за два года практики: хлоргексидин, разогретый пластик от старого чайника и чья-то забытая на батарее мокрая куртка. Запах перестаёшь замечать через три минуты. Это она проверяла.

Люминесцентная лампа над раковиной мигает с интервалом примерно в двадцать секунд — привычка у неё такая, утомительная и необъяснимая. Эмилия застёгивает халат снизу вверх, потому что сверху вниз крючки вечно не попадают в петли, — левая рука делает это сама, пока правая убирает волосы под медицинскую шапочку. В зеркале над раковиной отражается женщина в белом, усталая заранее. Эмилия смотрит на неё секунду — и отворачивается.

Приходящая медсестра, Светлана, уже стоит с планшетом у поста. Ей лет сорок пять, на дежурстве с утра, и это видно по тому, как она держит спину — не прямо, а скорее по инерции: ещё держит, но уже не знает зачем. Листает распечатку не глядя, потому что знает её наизусть.

— Первая палата — двое плановых, стабильные. Вторая — после операции, ночь прошла без осложнений, утром на КТ. Третья...

Эмилия пишет. Планшет старый, с тугим экраном, нажимать нужно с силой — это раздражает, но раздражение она фиксирует где-то на периферии и туда же откладывает.

— ...пятая, шестая — тихие. Седьмая — Громов, язва, готовится к выписке, но сам ходит, проблем нет. Восьмая...

Светлана делает паузу — не значимую, скорее механическую, как при смене страницы.

— Восьмая — сердечная недостаточность, третьи сутки. Карасёв, семьдесят один год. Сегодня добавили фуросемид, доза стандартная. Отёки спали, но не до нормы. Давление держим. Спал плохо.

— Родственники?

— Дочь была днём. Уехала.

Эмилия делает пометку. Снова нажимает на экран — экран не реагирует, она нажимает сильнее.

— Всё?

— Всё.

Светлана уходит, не прощаясь — не из грубости, просто традиция такая, пересменочная: ты пришла, я ушла, дальше твоё. Эмилия смотрит в планшет. Одиннадцать палат, восемнадцать человек. Ночь будет длинной.

Она начинает с первой.

— --

Движение по отделению — это особый вид мышления, который Эмилия за два года научилась включать как отдельный режим. Не думать о пациенте, а думать о показателях пациента. Давление, пульс, сатурация, диурез. Если всё в пределах нормы — галочка, следующий. Если что-то выбивается — фиксируй, анализируй, решай. Эмоциональный компонент не помогает принять решение. Эмоциональный компонент мешает принять решение. Это не жестокость, это физиология восприятия в условиях нагрузки.

Первая палата. Мужчина лет шестидесяти спит с открытым ртом, второй — тихо. Показатели — норма. Эмилия выходит.

Вторая. После аппендэктомии, молодой, лет двадцать пять. Морщится во сне. Капельница — в порядке, скорость не сбилась. Пульс — семьдесят два. Сатурация — девяносто восемь. Эмилия поправляет край простыни, завернувшийся у изголовья, — не из жалости, а потому что сквозняк из форточки, а лишняя температура ей сейчас ни к чему.

Третья, четвёртая, пятая, шестая.

В седьмой Громов не спит — лежит на боку, смотрит в телефон. Свет экрана режет темноту палаты.

— Добрый вечер, — говорит Эмилия негромко. — Не спится?

— Да вот, — говорит Громов, — завтра выписывают, а я всё равно...

Он машет рукой. Эмилия кивает, записывает: бессонница, субъективное улучшение, настрой нормальный. Всё.

Восьмая палата.

— --

Карасёв в восьмой один — отделение не полное, повезло. Эмилия открывает дверь без скрипа — приловчилась, тут надо чуть поднимать ручку вверх — и входит, не включая верхний свет. Ночник у изголовья даёт достаточно: жёлтый круг на белом потолке, полосы теней от жалюзи.

Мужчина не спит.

Это она видит сразу, ещё от двери. Он лежит на спине, руки сложены поверх одеяла — ровно, аккуратно, с той неподвижностью, которая бывает не от покоя, а от усилия его сохранять. Смотрит в потолок.

Эмилия подходит к прикроватному монитору. Давление — сто двадцать на семьдесят пять, неплохо. Пульс — шестьдесят восемь, ритмичный. Сатурация — девяносто шесть, чуть ниже желаемого, но в пределах допустимого для такого диагноза. Диурез по катетеру — сверяет с листком назначений, сравнивает с предыдущей записью Светланы. Фуросемид отработал.

Она делает записи.

Карасёв не двигается. Молчит. Но смотрит на неё — это она чувствует краем зрения.

Эмилия заканчивает запись. Поднимает взгляд — и встречает его. Глаза у него светлые, выцветшие, с тем выражением, которое она уже несколько раз замечала в реанимации и ещё не придумала, как называть. Не страх. Не боль. Что-то тише.

Она смотрит на него секунду дольше, чем нужно для того, чтобы просто убедиться, что пациент в сознании.

— Спокойной ночи, — говорит она.

Голос выходит ровным. Профессиональным. Правильным.

Карасёв не отвечает, только чуть прикрывает глаза — не соглашаясь и не возражая. Просто фиксируя: была. Ушла.

Эмилия выходит в коридор. Закрывает дверь. Идёт к посту, не замедляясь.

В планшете — ещё три палаты.

* * *

Три часа ночи. Коридор пустой, только люминесцентная трубка в дальнем конце мигала с тихим механическим упорством, словно сама не понимала, включена она или нет. Эмилия шла ровно, каблук медицинского сабо выстукивал по линолеуму привычный ритм: чётко, без спешки, без лишнего.

Четвёртая за ночь процедура в этой палате. Он всё не спал.

Она толкнула дверь плечом — руки заняты — и уже по наклону тела на кровати поняла прежде, чем увидела лицо: не спит, смотрит в потолок.

— Который час? — спросил он голосом, которым спрашивают не потому, что хотят знать, а потому что тишина стала слишком тяжёлой.

— Начало четвёртого, — сказала Эмилия, ставя поднос.

Она нашла вену с первого раза — у него не было хороших вен, были только эти, объёмные от задержки жидкости и почти непригодные, но первого раза всё равно хватило. Закрепила катетер, проверила капельницу. Всё правильно. Всё по протоколу.

— Спасибо, Эмилия, — сказал он.

Она уже разворачивалась к выходу, и это остановило её сильнее, чем должно было. Не само слово — «спасибо» говорили часто, это не событие. Но имя. Он прочёл его с бейджа — она видела, как скользнул взгляд — и произнёс спокойно, без заискивания, без той особенной интонации, с которой пожилые пациенты обращаются к медсёстрам: немного просительно, немного уменьшительно, словно задабривают. Просто назвал по имени. Как называют человека.

Она обернулась.

— Пожалуйста.

Мониторные цифры были в норме. Смотреть было не на что. Она смотрела.

— Жена у меня тоже не спала по ночам, — сказал он. — Не потому что болела. Просто так. Говорила, ночью думается правильнее.

Он не жаловался. Не тянул её на разговор. Просто произнёс это в воздух, как сообщают погоду — «похолодает к выходным», — и умолк. За окном где-то далеко прошла машина, свет фар мазнул по потолку и исчез.

Эмилия поняла, что он вдовец, — из прошедшего времени, из этого «говорила». И поняла что-то ещё, для чего у неё не было термина.

Это не клиническая информация, — отметила она автоматически. *Это не имеет значения для ведения.*

Но она стояла.

В медицинской карте не было графы для этого. Там было: хроническая сердечная недостаточность, фракция выброса левого желудочка сорок два процента, петлевые диуретики, динамика отёков. Всё это она знала и могла воспроизвести без запинки. Про жену, которая не спала по ночам, — не было ничего.

Она посмотрела на его руки. Они лежали поверх одеяла — крупные, с набухшими суставами, кожа чуть глянцевиата от задержанной жидкости. Руки немолодого человека, который что-то делал ими всю жизнь — она не знала что: строил, чинил, держал. Иголку капельницы в тыльной стороне ладони почти не было видно под полоской лейкопластыря.

Она смотрела на руки, а не на монитор.

Стоп.

— Отдыхайте, — сказала она ровно. — Если будет что-то — кнопка справа.

— Знаю, — сказал он. — Спокойной ночи, Эмилия.

Она вышла.

В коридоре было так же тихо, та же мигающая трубка, тот же линолеум. Эмилия сделала несколько шагов от палаты и остановилась. Прислонилась спиной к стене. Не потому что устала — ноги держали. Просто остановилась.

Несколько секунд. Может, десять.

Она попыталась собрать это в нормальную форму.

Пациент проявил лёгкий социальный контакт. Стандартное поведение при тревоге и бессоннице. Ничего необычного.

Звучало правильно. Звучало, как должно звучать.

Она попробовала ещё раз.

Декомпенсация эмпатии. Ночная смена, снижение когнитивного контроля — нормальный физиологический эффект.

Услышала это изнутри и поняла, что именно слышит.

Она сама произносила такое на парах — по другому поводу, в другом контексте, но интонация была та же. Интонация человека, который объясняет симптом, чтобы не разбираться с его причиной.

Ладно, — сказала она себе без слов, просто ощущением.

Оттолкнулась от стены и пошла дальше по коридору. До следующей отметки в листе назначений оставалось семь минут. Она знала, что уложится.

Про руки она больше не думала. Или думала, но не называла это думать — так, фон, помеха, то, что уберётся к утру само собой.

Мигающая трубка наконец погасла.

* * *

Кофеварка в ординаторской пищит уже третью минуту, и никто не встаёт её выключить.

Эмилия сидит за столом у окна с раскрытой историей болезни на коленях — читает, не видя ни слова. За стеклом — больничный двор, фонарь, скамейка, на которой в любую погоду сидит один и тот же дед в байковом халате. Сейчас его нет. Двор пустой. Ночь уже давила всей своей тяжестью, и в ординаторской горит одна лампа над столом дежурной — та ушла в палату.

Эмилия переворачивает страницу.

«Явления застойной сердечной недостаточности нарастают. Пациент жалуется на...»

Она не дочитывает. Закрывает историю, кладёт поверх стола, смотрит на свои руки.

Дверь открывается без стука — чуть, ровно настолько, чтобы просунуть голову. Голова принадлежит медбрату из хирургии. Эмилия видела его раньше — в коридоре, в столовой, пару раз у сестринского поста. Имя, кажется, Антон. Или Артём. Она не уточняла.

— Термометра лишнего нет? — спрашивает он. — У нас один батарейки съел.

— Посмотри в нижнем ящике справа.

Он входит. Находит ящик, открывает, роется. Достает термометр в прозрачном чехле, смотрит на него с сомнением.

— Ртутный.

— Да, — говорит Эмилия. — Мы ретрограды.

Он усмехается. Ставит термометр обратно — с осторожностью, как будто тот может обидеться.

— Ладно. Обойдёмся. — Не уходит. Опирается на тумбочку, смотрит на кофеварку. — Она всегда так пищит?

— Только когда забывают выключить.

— И никто не встаёт.

— И никто не встаёт.

Он смотрит на неё. Она смотрит на свои руки. Потом встаёт, нажимает кнопку. Кофеварка замолкает. В ординаторской сразу становится как-то плотнее — тишина без писка другая, более настоящая.

— Двести третья палата не спит, — говорит он, без перехода, просто чтобы что-то сказать. — Мужик там лежит после аппендицита. Молодой, лет двадцать пять. Просит включить телевизор — но шёпотом, чтоб сосед не проснулся.

Эмилия отмечает про себя, что это незначительная деталь. Думает: зачем он ей это говорит. Потом говорит:

— А ты включил?

— Включил. Звук на минимум. Нашли какой-то старый фильм, советский, чёрно-белый.

— Он обрадовался?

— Очень серьёзно кивнул. — Медбрат улыбается в сторону. — Как будто я ему документ подписал.

Эмилия слышит, как её рот открывается, и оттуда выходит:

— У меня недавно спросили, долго ли ещё.

Пауза. Не неловкая — скорее внимательная. Он не торопит.

— Что ответила?

— Ничего. Пошла дальше.

Это правда. Она сказала себе: не её функция отвечать на такие вопросы. Это работа психолога, священника, родственников, кого угодно ещё. Её функция — витальные показатели, медикаменты, процедуры. Она правильно распределила.

Медбрат кивает.

— Я первые месяцы три тоже так делал, — говорит он. — Потом понял, что они не ответа ждут. Просто чтоб кто-нибудь остановился.

Эмилия смотрит на него. Он не поучает — это не поучение, интонация не та. Он просто говорит, как говорят про погоду или про расписание.

— Я знаю, — слышит она себя снова. — Я просто не остановилась.

Откуда она это знает, непонятно. Минуту назад она была уверена, что правильно распределила.

Молчание.

Кофеварка тихо тикает, остывая.

— Андрей, — говорит он.

— Что?

— Меня зовут Андрей. На случай если потребуется термометр.

— Эмилия.

— Я знаю.

Она смотрит на него — не с удивлением, просто фиксирует. Он знает. Запомнил. Она его — до сегодняшнего вечера — нет.

— Ладно, — говорит Андрей. — Пойду. Мой мужик, наверное, уже весь фильм посмотрел.

— Иди.

Он уходит. Дверь закрывается — тихо, без щелчка.

Эмилия садится. Берёт историю болезни обратно. Смотрит на страницу.

«...нарастают. Пациент жалоб не предъявляет.»

Она сидит. Не читает.

Это не была информация, — думает она. — *Это был разговор.*

Разница очевидная, примитивная, и тем не менее она сидит с этим, как с чем-то, что нужно разобрать и положить на правильную полку. Разговор. Два человека говорили не потому, что один чего-то хотел от другого, не потому что была задача, требующая обмена данными. Просто — говорили. Про мужика с чёрно-белым фильмом. Про пациентов. Про то, что она не остановилась.

Откуда она это сказала вслух? Зачем?

Потому что он не ждал правильного ответа, — отвечает что-то в ней раньше, чем она успевает сформулировать вопрос.

Само по себе странно. Она привыкла к разговорам, где правильный ответ существует и его нужно найти, произнести, зафиксировать. На обходе. На зачёте. С матерью по телефону. Правильный ответ — это безопасность, это стена, это знак того, что ты понимаешь правила и умеешь ими пользоваться.

Андрей не спрашивал правильного ответа. И она не дала правильного ответа — она сказала что-то настоящее, и это вышло раньше, чем она успела остановить.

Неожиданно, поправляет она себя. Не странно — неожиданно. Это разные вещи.

За окном появляется дед в байковом халате. Садится на скамейку под фонарём. Смотрит куда-то в сторону — может, на парковку, может, в ничто. Эмилия наблюдает за ним секунду, две. Потом опускает глаза в историю болезни.

«Пациент жалоб не предъявляет.»

Она думает: может, тоже не ждёт правильного ответа. Может, просто чтоб кто-нибудь остановился.

Переворачивает страницу.

* * *

«Октябрьское утро вползает в квартиру боком — через щель в жалюзи, полосой пыльного серого света поперёк столешницы».

Эмилия снимает форму у порога, вешает на крючок. Спортивные штаны из ящика, старая футболка с рукавами до локтя. Чайник на плиту. Руки сами.

Она садится за стол, открывает папку с конспектами по ординатуре. Терапия, анестезиология-реаниматология — она пока не решила. Ещё есть время решить. Вписывает это в список задач на неделю, карандашом, рядом с «купить жир для обуви» и «позвонить насчёт страхового полиса». Разграфлённый лист, знакомый почерк, клетки заполнены.

Чайник закипает. Она заваривает чай, горячий, без сахара, и возвращается за стол.

Конспект открыт на классификации сердечной недостаточности. NYHA I–IV, нарастающая симптоматика, хроника. Она читает. Перечитывает. Слова складываются, как должны, — в систему, в схему, в то, что легко воспроизвести на экзамене одной рукой, не глядя.

Но руки пациента не уходят.

Не само лицо — лицо уже смазлось, стало округлым, общим, каким становятся лица к концу смены. А вот руки. Сложены поверх одеяла, не под ним, не по бокам. Поверх — как у человека, который уже решил, что ему больше некуда их деть. Костяшки крупные, немного деформированные по суставам — либо старый полиартрит, либо просто возраст. Синяк от катетера, аккуратно забинтованный. Ногти чистые.

Просто пациент, — говорит она себе. — *Я правильно всё сделала. Параметры в норме.*

Параметры были в норме.

Она делает пометку на полях конспекта, возвращается к третьему классу, к одышке при минимальной нагрузке. Думает о нагрузке. Думает о том, какой нагрузкой является — неожиданным образом — мысль о чьих-то руках на казённом одеяле в четыре ночи.

Нераспознанная нагрузка. III класс по Эмилии Ягиш.

Она улыбается этому — но не до конца.

Чай остывает. Она забывает его пить.

В половине шестого она открывает ноутбук — не потому что нужно, а потому что конспект перестает работать. Сайт университета, раздел «Поступление». Она ищет образец портфолио, находит структуру документов, листает дальше — и вот оно, внизу страницы, мелким шрифтом, как будто специально: *Приём документов до*.

Числа.

Она смотрит на них секунду, потом ещё секунду.

Октябрь. Конец октября.

Меньше, чем она думала. Не намного — но меньше. Она открывает свой список в телефоне, ищет, когда именно говорила Алина. Неделью назад, у доски объявлений, между расписанием и объявлением о сдаче зачётных книжек. Алина назвала дату, Эмилия кивнула — и отметила про себя, что это Алина что-то говорит, а не информация.

Это разные вещи, оказывается.

Она листает назад в памяти: голос Алины, ровный, чуть приподнятый на интонационных вершинах, тот особенный тон человека, который сообщает о чём-то важном так, будто все уже давно знают и только ты почему-то нет. *Главное — не затягивать с рекомендациями*, — сказала Алина ещё что-то. Про рекомендации. Эмилия тогда не стала спрашивать, от кого. Незачем было спрашивать.

Она смотрит на экран. Дата совпадает.

Не то чтобы это проблема. У неё есть оценки, есть наработки, есть — она уверена — основание для бюджетного места. Просто нужно собрать документы раньше, чем она планировала. Вполне решаемо.

— Успею, — говорит она вслух, негромко, в пустую квартиру.

Квартира не отвечает. Это в порядке вещей.

Она закрывает ноутбук. Раздвигает жалюзи — на улице уже светло, автобус остановился внизу и уехал, кто-то выгуливает собаку у мусорных баков. Обычное утро. Она выпивает остывший чай, не почувствовав вкуса, ополаскивает кружку.

Ложится поверх одеяла, не разбирая постель.

Потолок белый с тонкой трещиной в углу — она её давно знает, изучила ещё в первые бессонные недели на новой квартире. Трещина никуда не ведёт, не расширяется. Просто есть.

Она думает о медбрате. О том, как он сказал «нормально» — не в смысле «хорошо», а в смысле *бывает*, и это разные вещи. О том, что она не умеет говорить *бывает*, потому что это означало бы, что что-то случилось, а если что-то случилось, значит, она это заметила, а если заметила — значит, что?

Значит — ничего. Просто заметила.

Она снова думает о руках пациента. О том, что правильно, по протоколу, не задерживаться у постели, когда впереди ещё четыре палаты и целая ночь. Что она сделала всё правильно. Что *правильно* — это не всегда то же самое, что *достаточно*, и это неудобная мысль, которую она откладывает в ту же полку, куда раньше положила Левченко и его тридцать лет, и Гошу со спиной в коридоре, и Николая Петровича, который спросил про *долго ли ещё*.

Полка большая. Место пока есть.

Эмилия закрывает глаза.

Сон не приходит — но и тревога не приходит тоже. Только тихое, мерное, немного назойливое ощущение, что где-то в сегодняшней ночи она дважды вышла за границы протокола, и ни разу не пожалела об этом, и вот это — именно это — почему-то требует объяснения.

Она не объясняет.

За окном разгорается утро.

Глава 6. Конференция

Конференц-зал кафедры занимает примерно столько же места в пространстве, сколько занимает в памяти любого, кто хоть раз в нём сидел: много. Потолок низкий, с длинными люминесцентными лампами, одна из которых в дальнем правом углу мигает — не часто, но достаточно, чтобы начать отсчитывать интервалы. Рядов шесть, каждый ряд — восемь кресел, обтянутых тем особым советским красным дерматином, который к октябрю пахнет уже не новым ремонтом, а слоями чужих пальто. Доска в торце — настоящая, меловая, но на неё давно накинута экран для проектора. Кафедра стоит чуть сбоку, как бы отойдя в сторону и уступив место технике.

Эмилия входит за семь минут до начала.

Место с краю второго ряда — привычно, не из осторожности. Просто удобно: видно экран, есть выход влево, спина прикрыта. Она не формулирует это так — просто садится туда каждый раз, и место всегда свободно. Никто не приходит за семь минут.

Кладёт блокнот на колени. Ручку — за ухо. Достает программу конференции, которую распечатали и сложили вдвое — так складывают программы, которые не жалко выбросить.

«Актуальные вопросы кардиологии: от диагностики к терапевтическим протоколам».

Пробегают список докладчиков взглядом без особого интереса. Левченко — вступительное слово, разумеется. Трое ассистентов с темами, которые читаются как переформулированные статьи из «Терапевтического архива». Потом —

Калинин Сергей Игоревич. «Прогностическая стратификация риска при хронической сердечной недостаточности с учётом биомаркеров: новые возможности в рутинной клинической практике».

Эмилия сгибает программу по прежней складке.

Зал заполняется. Многие кучкуются в последних рядах с той особой деланной расслабленностью, которая означает, что явка обязательная. Несколько студентов шестого курса рассредоточены по середине. Преподаватели — в первом ряду, по своему негласному праву. Сосед слева от Эмилии ставит сумку между стульями и тихо чертыхается: молния не закрывается. Она не смотрит.

Калинин появляется раньше Левченко — это замечает только она, потому что наблюдает за кафедрой с тех пор, как села.

Он подтянут. Светлый пиджак, который Эмилия видит впервые, — значит, надел к случаю. Папка под мышкой чёрная, плотная, с потёртым нижним левым углом, где картон начал расслаиваться. Эмилия помнит этот угол. Помнит, как он расслоился неделю назад, когда она несла папку из библиотеки под дождём, и как потом, сушась, прижала угол ладонью — и он всё равно не выровнялся.

Это её папка.

То есть — нет. Это папка кафедры, технически. Она сама её туда принесла, сама сложила в ней распечатки. Это естественно. Он ведущий докладчик, он взял материалы.

Калинин раскладывает листы на трибуне, перекидывается парой слов с кем-то из первого ряда — лёгкая, хорошо отрепетированная непринуждённость человека, который чувствует себя на месте. Эмилия смотрит на его руки. Уверенные руки, которые не торопятся.

Левченко входит ровно в начале. Несколько слов о значении кафедральных научных мероприятий — Эмилия мысленно проговаривает параллельно, тон в тон, слово в слово, потому что вступление не меняется с прошлого года. Присутствующим желают продуктивной работы.

Калинин выходит к трибуне.

— Глубокоуважаемые коллеги, — начинает он, и голос у него тот же, что на кафедральных разборах: ровный, без подъёмов, с лёгким дикторским нажимом на опорные слова. — Позвольте поблагодарить кафедру за возможность представить результаты работы, которая велась в течение последних нескольких месяцев. Сегодня я хотел бы рассмотреть проблему прогностической стратификации риска при хронической сердечной недостаточности через призму комплекса доступных биомаркеров — не как академическую абстракцию, но как инструмент, применимый в рутинной клинической практике, без необходимости в ресурсах высокотехнологичных кардиоцентров.

Эмилия не двигается.

Она написала это предложение. Не что-то похожее, не близкое по смыслу — именно это предложение, именно в такой конструкции, в разделе «Обоснование актуальности», в первом варианте тезисов, который отдала Калинину. Потом был второй вариант, третий, но это предложение она не трогала, потому что оно сразу вышло точным.

«Не как академическую абстракцию, но как инструмент, применимый в условиях стандартной клинической практики».

Это её интонация. Это её синтаксис — она всегда строит вот так, через «не... но», потому что считает эту конструкцию честной.

В ухе что-то тихо сдвигается.

Она смотрит на экран. Первый слайд: название доклада, фамилия докладчика, логотип кафедры. Своей фамилии она не ищет — и так знает, что её там нет.

Ручка за ухом вдруг кажется ей лишней. Она вынимает её и кладёт на блокнот.

Совпадение.

Она работала с материалом — разумеется, формулировки осели в его речи. Это называется «освоение темы». Это называется «научный руководитель усваивает концепцию». Она объясняет это себе быстро, почти автоматически, и объяснение ложится ровно, без зазоров, потому что она умеет строить объяснения.

Калинин перелистывает к следующему слайду.

Сосед слева наконец справился с молнией.

* * *

Калинин говорит хорошо. У него поставленный голос, который давно научился звучать убедительно вне зависимости от содержания.

Эмилия сидит во втором ряду с краю и слушает.

Первый блок — постановка проблемы. Правильная. Ёмкая. Она три раза переписывала вводный тезис, пока не нашла формулировку, которая не проваливалась в очевидное и не уходила в дебри. Теперь эта формулировка звучит из чужого рта, и под языком у неё — привкус чего-то металлического, как после долгого сжатия челюстей.

Второй блок — методология. Калинин говорит: «Мы провели поперечное исследование на группе пациентов с хронической сердечной недостаточностью, с однократным замером биомаркеров», — и Эмилия вспоминает тот момент, когда сидела над учебником и решала, что именно поперечный срез, а не долгосрочное наблюдение, — потому что следить за пациентами годами она не может, у неё один учебный год. Помнит, как записала в тетради: *одномоментный срез, обосновать*.

Третий блок. Результаты.

На экран выходит слайд с таблицей.

Она узнаёт её сразу — не как узнают чужую вещь, а как узнают собственное лицо в кривом зеркале, когда понимаешь: это ты, но что-то не так. Структура колонок, цветовое решение — серое на белом, без лишнего, — разбивка по возрастным группам, которую она делала вручную, потому что автоматическая нарезка в программе давала неравные интервалы. Шапка другая. Её имени нет.

Эмилия замечает, что улыбается.

Это происходит помимо неё — как рефлекс при ударе молоточком по сухожилию. Уголки губ тянутся чуть вверх, и она не может это остановить, потому что лицо уже решило, что сейчас — момент, когда нужно выглядеть нормально. Лицо умнее неё. Лицо пережило Левченко и три ночных смены подряд и знает, что делать.

Внутри что-то делает медленное, неспешное движение — как оседание грунта. Не обрушение. Просто одна плита идёт вниз под другую, и сверху пока ничего не видно.

Она начинает слушать иначе.

Теперь это не её работа — это чужой текст, и она разбирает его профессионально, с той отстранённостью, которой учили на занятиях по критическому анализу литературы. Методология. Логика перехода между блоками. Интерпретация данных.

Второй блок и третий он поставил правильно. Именно в той последовательности, к которой она шла. Сначала у неё было иначе: сначала результаты, потом методология как объяснение. Потом она поняла, что это не работает, что читатель должен сначала понять инструмент, прежде чем ему показывают то, что этим инструментом намеряли. Она переставляла блоки. Несколько раз. Пока не легло.

Он взял готовое.

Она думает об этом ровно — как о факте, не требующем немедленной реакции.

Теперь ошибки. Ищет ошибки, потому что это единственное, что сейчас можно делать.

Первая находится быстро. В интерпретации таблицы Калинин говорит о «достоверном различии между группами», не называя p -значение и не указывая доверительный интервал. В её тексте это было прописано отдельно — она помнит, как проверяла расчёты дважды, потому что статистика никогда не давалась легко и она хотела быть уверена. Он убрал это. Либо не понял, зачем это там, либо решил, что аудитория не заметит.

Вторая ошибка серьёзнее. В выводах он формулирует причинно-следственную связь там, где данные поперечного исследования позволяют говорить только о корреляции. Это базовое. Это первый курс. Она этого не писала — она написала «ассоциация», «связь», «сопряжённость», — потому что знала: поперечник не даёт права на причинность. Он дописал от себя. Или не заметил, что меняет.

Кто-то слева касается её локтя.

— Хорошо идёт, да? — шёпот, почти беззвучный.

Она поворачивает голову. Сосед по ряду — мужчина с кафедры, немолодой, с бейджем, который она не успевает прочитать, — смотрит на неё с лёгким одобрением. Кивает в сторону экрана.

Эмилия кивает в ответ.

— Да, — говорит она, совершенно беззвучно.

Снова смотрит на Калинина. Улыбка на месте. Лицо держит её без усилий.

Внутри — тот же медленный сдвиг. Никакой паники. Никакого горла. Только точность: она знает теперь всё, что нужно знать. Её работа, переставленные блоки, вручную нарезанные возрастные интервалы, дважды проверенная статистика, слово «ассоциация» вместо «причина» — всё это теперь его доклад, его голос, его интонация уверенного человека, который хорошо знает материал.

Он не знает материал. Она слышит это в том, как он не может ответить на собственную методологию. В том, как уверенно произносит «достоверное различие», не называя цифр. В том, как причинность скользит в его речи незамеченной — не как осознанная манипуляция, а как просто непонятое место, которое он прочитал и не остановился.

Это не утешает. Это просто ещё один факт.

Калинин переходит к заключению. Голос — всё такой же поставленный, ровный. Зал слушает. Несколько человек делают пометки. Кто-то кивает.

Эмилия держит улыбку и думает о р-значении, которого нет на слайде, и о слове «причина», которого не должно было быть в выводах.

* * *

Калинин делает паузу. Секундную, правильную — из тех, которым учат на курсах ораторского мастерства.

— В заключение хочу поблагодарить кафедру за поддержку и возможность представить этот материал. Отдельная благодарность — студентам, оказавшим техническое содействие в сборе данных. — Он скользит взглядом по бумаге, не по залу. — Ягиш, Домбровская, Воронова. Спасибо.

Аплодисменты.

Эмилия хлопает. Руки работают сами — подняты на нужную высоту, ладонь бьёт о ладонь в правильном темпе, не слишком быстро, не слишком медленно. Кто-то сзади хлопает с энтузиазмом, и она слышит это через стекло, через слой чего-то плотного, что заполнило пространство между ней и залом за последние сорок минут.

Техническое содействие.

Домбровская сидит через два ряда и тоже хлопает. Воронова — у окна. Они, наверное, не понимают. Они собирали анкеты, разносили согласия на обработку данных, вводили цифры в таблицу. Это было техническое содействие. Это было именно то, что так называется.

Эмилия смотрит на свои руки.

Они хлопают.

Она не отдавала им команду остановиться, и они не остановились. Интересно устроен организм — продолжает функционировать, когда центральный процессор занят другим. Сердцебиение, дыхание, аплодисменты. Регуляция без участия коры.

Техническое содействие — это лаборантка с пипеткой. Это человек, который делает то, что ему говорят, потому что не понимает зачем, и не обязан понимать. Она понимала. Она строила структуру аргумента, пока Калинин смотрел на неё с тем выражением заинтересованного наставника, которое она теперь могла бы разобрать по деталям и назвать каждую из них своим именем. Она выбирала классификацию — не потому что так проще, а потому что по-другому нельзя было выйти на тот вывод, который, собственно, и делал весь материал интересным. Она объясняла ему, почему именно этот вывод, и он кивал, и что-то записывал в блокнот, и она думала: *вот, кто-то слушает*.

Кто-то слушал.

Калинин раскланивается. Профессор Левченко что-то говорит со своего кресла в президиуме — Эмилия слышит интонацию, не слова. Одобрительная интонация. Такие интонации звучат над безупречными ответами, над правильными выводами, над чужими формулировками, произнесёнными нужным голосом в нужном месте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.